



Александр I

- 1. Юность
- 2. Венценосный декабрист
- 3. Легенда о безволии
- 4. Самодержавная воля
- 5. Еще доказательства воли
- 6. Александр и Наполеон
- 7. От союза к войне
- 8. 1812 год
- 9. После Отечественной войны
- 10. Трагедия царизма

Николай I

- 1. «Победитель»
- 2. Самодержавная трусость
- 3. Испуганное пугало
- 4. Провал системы

Александр II

- 1. Вновь «Дней Александровых начало»
- 2. «Царь-освободитель»
- 3. Реформы
- 4. Реакционный либерализм и либеральная реакционность
- 5. Внешняя политика
- 6. Обманутые ожидания
- 7. Катастрофа

Александр III

- 1. Утверждение самодержавия
- 2. Внутренняя политика
- 3. Болгарская политика

- 4. Русско-французский союз
- 5. Финансы

Николай II

- 1. Венчанная пошлость
- 2. Черты характера
- 3. Красноречие слов и дел
- 4. Внешняя политика
- 5. Перед «конституцией»
- 6. Голый царь и Марк Твен
- 7. «Конституция»
- 8. Витте, Трепов, Столыпин
- 9. Русский фашизм
- 10. Ритм
- 11. Великие князья
- 12. Александра Федоровна
- 13. Государственное распутство
- 14. Катастрофа

Любош С. Последние Романовы. Репринтное издание 1924 года. – М., 1990. – 287 с.

Обработка текста: Максим Гилько

Александр I

1. Юность

В начале марта 1801 года стояли в Петербурге пасмурные промозглые дни холодной и немощной северной весны. Но 12-го, в день весеннего равноденствия, ярко засияло вешнее солнце над столицей и совпало это со светлой радостью, охватившей население. В ночь с 11-го на 12-ое не стало императора Павла. Столица сразу стала неузнаваема. Вновь появились запретные круглые шляпы и столь же запретные панталоны и фраки, помчались по улицам экипажи с русской упряжью, громко зазвучали запретные слова, исчезли ужасы взбесившегося от перепуга самодержавия, и подобострастный «певец Фелицы» возвестил:

Умолк рев Норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный взгляд,

за что он получил жестокий нагоняй от генерал-прокурора Беклешева — и бриллиантовый перстень от царя. Новому царю не было еще 24 лет. Это был молодой человек, роста выше среднего, немного сутулый, рыжеватый блондин с улыбкой на прекрасно очерченных устах и с печальными глазами. Во внешности этого любимого внука Екатерины возродились чары этой величайшей актрисы своего рода. Юным императором восхищались даже мужчины, а женщины готовы были обожать венценосного красавца. /5/

Злая эпиграмма Пушкина «перед бюстом А.П.» относится к периоду более позднему.

Напрасно видят тут ошибку,
Рука искусства навела
На мрамор этих уст улыбку
И гнев на хладный лоск чела.
Не даром лик сей двязычен,
Таков и был сей властелин
К противочувствиям привычен,

Стихи эти написаны Пушкиным на Кавказе в 1829 г., т.е. после смерти Александра. Но тогда, в 1801 году, после кошмарного четырехлетнего беснования несчастного Павла, воцарение любимца Екатерины вызвало бурный взрыв ликования. Впрочем, размах этих ликований не следует преувеличивать. Вершина этой радости была в Петербурге. Свободно вздохнули придворные сферы, гвардия, армия, высшее чиновничество, все те, кто давали тон обычной жизни. Трудно установить теперь, насколько эти дворянские восторги захватили низы, даже в столицах, а там, «во глубине России», там «народ безмолвствовал», да и не имел особых причин радоваться. Для широких масс, для глубокой толщи народной безумный Павел был нисколько не хуже, не зловреднее, а в иных отношениях и лучше других «умных» владык, и даже таких умных, как Екатерина[1].

Итак, великое ликование, которым встречено было убийство Павла и воцарение Александра, охватило весьма ограниченный круг, т.е. высшее дворянство и чиновничество.

Радость была вдвойне велика: и оттого, что избавились от пароксизмов бешенства безумного человека, у которого в руках было такое страшное оружие, как неограниченная самодержавная царская власть, и оттого, что на престол вступил «молодой энтузиаст», «друг вольности», воспитанник «якобинца и республиканца» /6/ Лагарпа. От ужасов самодержавного безумия, сеявшего страх и трепет, вдруг перешли к светлым предвкушениям «дней Александровых прекрасного начала».

Александр Павлович, подобно всем русским царям, не получил никакого серьезного образования. Если б у него и была к этому склонность, он бы просто не успел. Екатерина, благополучно убившая своего ненавистного мужа и ненавидевшая прижитого ею при нем сына, отобрала от него своего старшего внука и сама занималась с ним, поручив его воспитание «якобинцу Лагарпу».

Но когда Александру было 15 лет, бабушка поспешила женить этого 15-летнего мальчика на 14-летней девочке, дочери маркграфа баден-дурлахского, Луизе-Марии Августе, переименованной в Елизавету Алексеевну. Этот ранний брак нужен был Екатерине и для того, чтобы уберечь юношу от соблазнов слишком ей знакомого дворцового разврата, и для того, чтобы еще больше оторвать своего любимого внука от отца. Она тогда уже задумывала передать престол внуку, обойдя отца.

После женитьбы уже стало совсем не до учения, и образование Александра считалось законченным.

Само посвящение 15-летнего мальчика в мужчину и супруга совершилось с необычайным цинизмом, вполне в стиле той порнокрапии, которая царствовала при блистательном дворе 64-летней венценосной блудницы, столь гениально игравшей роль «северной Семирамиды».

В Гатчине, где проживал опальный наследник-цесаревич Павел, царствовала та беспощадная парадомания, та мучительская игра в солдатики, ярким представителем которой, вслед за самим Павлом, был Аракчеев, собственноручно вырывавший у гренадеров за малейшую оплошность усы вместе с мясом. Там проходил свою военную службу и Александр, метавшийся между суровой гатчинской кордегардией и раззолоченной вакханалией двора Екатерины.

Б. вел. кн. Николай Михайлович в своем биографическом очерке, говоря о графине Анне Степановне Протасовой, любимой фрейлине Екатерины, о скверной репутации /7/ этой сварливой, мелочно-тщеславной и безобразной женщины, приводит строфы из стихотворного памфлета на двор Екатерины итальянского поэта Джамбатиста Касты, который вкладывает в уста фаворитки императрицы следующее признание:

«Я обыкновенно предварительно испытываю кандидата в фавориты, чтобы узнать, соединяется ли в нем с представительностью существенное достоинство его, и никто не получает этой должности, если он перед этим не был испытан и одобрен мною».

Байрон в «Дон-Жуане» прямо говорит о «miss Protassoff», исполнявшей при Екатерине «mistic office» с титулом «l'ergouveuse». Но нравы высшего дворянства и знати были таковы, что перед этой женщиной все заискивали и даже молодые придворные ухаживали за этой дурнушкой. Но

этого мало. Протасовой уже после смерти Екатерины писали любезные письма и Павел, и Александр, уже будучи императором, и в постоянной дружеской переписке с нею были и скромная императрица Елизавета Алексеевна, и вдовствующая императрица Мария Федоровна (жена Павла), хотя обе эти женщины отличались чистотою и пристойностью, И любимая сестра Александра, Екатерина Павловна, и младшая сестра, к которой безуспешно сватался впоследствии Наполеон, Анна Павловна.

Очевидно, наш командующий класс не только не находил ничего зазорного в должности этой екатерининской фрейлины, но даже видел в ее функции нечто почетное. Впрочем, тот же командующий класс не находил ничего зазорного ни в самом беззастенчивом казнокрадстве, ни в воровстве и грабительстве.

Восторг, вызванный убийством Павла и воцарением Александра, объясняется не тем только, что Павел поражал безумным деспотизмом, а Александр питал «вольнлюбивые» мечты. Даже не исключительно тем объясняется эта радость, что обезумевший самодержец стал опасен для окружающих. Помимо этого были причины более глубокие и более основательные. Павел угрожал вольностям дворянства и своим запрещением торговли с Англией нарушал экономические интересы командующего класса. /8/

В Англию вывозили наше сырье, в чем был прямо заинтересован наш землевладельческий класс. Своей промышленности у нас не было, и купцы торговали изделиями английской промышленности, а распоряжения Павла били и купцов, и наших владельцев сырья, т.е. помещиков, по карману.

Легенда о непричастности или малой причастности Александра к трагедии, разыгравшейся в ночь с 11 на 12 марта в Михайловском замке, теперь, после исторического исследования Николая Михайловича, совершенно отпала.

Пользовавшийся исключительным доверием императора Павла и осыпанный его милостями, петербургский генерал-губернатор фон дер Пален получил на предмет устранения Павла разрешение от Александра «действовать по своему усмотрению».

«Что это означало?» — спрашивает в своей книге великий князь Николай Михайлович. «Да просто согласие наследника на исполнение заговора. Заговор был решен, началась серия жутких дней, потому что без ведома Александра Пален действовать не собирался. Нагляднейшим примером их отношений служит следующий эпизод... Ночное наступление на Михайловский замок было решено предварительно в ночь с 9 на 10 марта. Когда о сем было доложено Александру, он заметил Палену, что 9 марта было бы рискованно действовать, ибо в дворцовом карауле находятся преданные государю преображенцы, а что с 11 на 12 марта будет там по очереди караул от 3-го батальона семеновцев, за преданность которых ему, Александру, он ручается... Пален не сразу согласился отложить назначенное предприятие... Но Александр стоял на своем, и Пален, признав доводы основательными, согласился отложить злополучное дело до ночи 11 марта»...

Затем автор приходит к определенному заключению, что Александр «знал все подробности заговора, ничего не сделал, чтобы предотвратить его, а напротив того, дал свое обдуманное согласие».

«Ведь трудно допустить следующее предположение, продолжает автор, а именно что Александр, дав согласие действовать, мог сомневаться, что жизни отца /9/ грозит опасность. Характер батюшки был прекрасно известен сыну, и вероятие на подписание отречения без бурной сцены или проблесков самозащиты вряд ли допустимо».

Вообще, историческая легенда о незначительной или слабой, почти несознательной причастности Александра к убийству отца совершенно рассеивается после опубликованных исследований, основанных на недоступных обыкновенным смертным документах добросовестного и осторожного историка, который сам принадлежал к семье Романовых. И при свете раскрытых великим князем Николаем Михайловичем фактов меркнет верноподданническая легенда о личности «благословенного» и сама личность «сфинкса, неразгаданного до гроба», становится менее загадочной и более постижимой в ее «человеческих, слишком человеческих слабостях...» /10/

2. Венценосный декабрист

Яркая вспышка позднего Ренессанса, охватившего, наконец, и область правовых отношений, получившая в истории название Великой французской революции, озарила в конце XVIII века весь культурный мир. Могучее веяние освободительных идей носилось над странами и народами и не могло не коснуться и России — России послепетровской, России времен Екатерины.

Екатерина не совсем облыжно называла себя последовательницей самого яркого представителя русского Возрождения — Петра Великого. Эта величайшая актриса своего времени, изумительно, хотя и невыдержанно сыгравшая свою роль, сама была воспоена духом Возрождения и, воспитывая своего любимого внука, сочиняя для него сказки и учебники, лично преподавая ему историю и препоручив его влиянию Лагарпа, и его приобщила к тому духу, который впоследствии воодушевлял декабристов.

Александр в первые годы своего царствования очень обидел дворянское классовое чувство именным указом от 20 февраля 1803 года «об отпуске помещиком крестьян своих на волю по заключении условий, на обоюдном согласии основанных». А указом от 18 октября 1804 года опять были оскорблены дворяне до глубины своей классовой души разрешением купцам, получившим классные чины до VIII включительно, владеть крестьянами.

На практике ничего из всего этого не вышло. Распоряжения Павла о трехдневной барщине и о воскресном /11/ отдыхе помещики просто не исполняли, а указы Александра о вольных хлебопашцах и добровольных соглашениях помещиков с крестьянами не имели почти никаких практических последствий и только напрасно вызвали к нему некоторое охлаждение дворянских чувств.

Еще будучи наследником Александр посылает к Лагарпу Новосильцева «с единственной целью повидать вас и спросить ваших советов и указаний в деле чрезвычайной важности об обеспечении блага России при условии введения в ней свободной конституции».

Далее наследник самодержавного русского царя успокаивает старого республиканца и «якобинца», чтобы тот не убоился бездны царственного либерализма:

«Не уstraшайтесь теми опасностями, к которым может привести подобная попытка; способ, которым мы хотим осуществить ее, значительно устраняет их».

Какой же это способ?

Он изложен в том же письме:

«Вам уже известны мои мысли, клонившиеся к тому, чтобы покинуть свою родину. В настоящее время я не предвижу ни малейшей возможности к приведению их в исполнение. Мне думалось, что если когда-либо придет и мой черед царствовать, то вместо добровольного изгнания себя сделаю несравненно лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить ее сделаться в будущем игрушкой в руках каких-либо безумцев. Это заставило меня передумать о многом, и мне кажется; что это было бы лучшим образцом революции, так как она была бы произведена законной властью, которая перестала бы существовать, как только конституция была бы **закончена**, и страна избрала бы своих **представителей**. Вот в чем заключается моя мысль.

Я поделился ею с людьми просвещенными, со своей стороны много думавшими об этом. Всего-навсего нас только четыре, а именно: Новосильцев, граф Строганов, молодой князь Чарторыжский, мой адъютант, выдающийся молодой человек, и я».

Письмо это от 27 сентября 1797 года, между прочим, указывает на тот состав «негласного комитета» или, /12/ как шутливо называл его по якобинской терминологии Александр, — «комитета общественного спасения», который возбуждал столько надежд в первые годы царствования «самодержавного конституционалиста».

Еще более ярко, чем письмо к Лагарпу, письмо Александра, написанное им 10 мая 1796 года Виктору Павловичу Кочубею, к которому Александр питал, по его собственному выражению, «беспредельную дружбу».

«Да, милый друг», — пишет Александр, — «повторю снова: мое положение меня вовсе не

удовлетворяет. Оно слишком блистательно для моего характера, которому нравятся исключительно тишина и спокойствие. Придворная жизнь не для меня создана. Я всякий раз страдаю, когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих, в моих глазах, медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они занимают здесь высшие места, как, например, князь Зубов, Пассек, князь Барятинский, оба Салтыкова, Мятлев и множество других, которых не стоит даже называть и которые, будучи надменны с низшими, пресмыкаются перед теми, кого боятся».

«В наших делах», — пишет он далее, — «господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя лишь стремится в расширению своих пределов. При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправлять укоренившиеся в нем злоупотребления; это свыше сил не только человека, одаренного, подобно мне обыкновенными способностями, но даже и гения, а я постоянно держался правила, что лучше совсем не браться за дело, чем исполнить его дурно. Следуя этому правилу, я и принял то решение, о котором сказал вам выше. Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого неприглядного поприща (я не могу еще положительно назначить время сего отречения) поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно /13/ частным человеком, полагая свое счастье в обществе друзей и в изучении природы».

Александр даже сознает фантастичность или неправдоподобность этого плана:

«Вы будете смеяться надо мною и скажете, что это намерение несбыточное, это в вашей власти, но подождите исполнения и уже тогда произносите приговор».

Это письмо не единственное свидетельство чувств Александра в то время. Такие высказывания Александра принимаются за доказательства «противочувствий», за рисовку, за лицемерие. Да, Александр любил играть роль, любил порисоваться. Недаром же он рос в атмосфере такой вечной театральности, как двор Екатерины, с одной стороны, и гатчинская мрачнотрагическая игра в солдатики — с другой. Но все же в те минуты, когда он изливал свои чувства, он был более или менее искренен, т.е. сам почти, а то и вполне верил в них. /14/

3. Легенда о безволии

Немало разрушено легенд, затемнявших подлинный лик Александра I, но одна из них держится особенно упорно и даже усиливается с течением времени.

Эта упорно живущая легенда уверенность в безволии Александра.

Схема такая. Был человек недюжинного ума, пылкого воображения и ярких вспышек чувства, но не было у него сильной воли, и это совершенно исковеркало и его жизнь, и его царствование, и всю творимую им историю.

Чувствительный воспитанник Лагарпа, мечтавший о даче на Рейне, человек, обвеянный идеями Руссо и духом Великой французской революции, и неразлучный друг Аракчеева. И эта неразрывная, пережившая все испытания бурного царствования дружба не явление последних печальных и мрачных лет этого царствования. Эта дружба была крепка уже тогда, в бытность Александра наследником, в те годы, когда даже Павел не вынес тупой жестокости этого «истиннорусского неученого дворянина», как нарочито величал себя Аракчеев.

Когда Аракчеев нагло сподличал, чтобы выгородить своего родного брата, и пытался подвести под опасный гнев Павла человека неповинного, Павел его прогнал, а Александр письменно изливался в своей любви к нему.

Это была уже вторая опала Аракчеева при Павле. Первая произошла по следующему поводу: /15/

В январе 1798 года Аракчеев накинулся на подполковника Лена и по своему обыкновению обругал его «самыми позорнейшими словами».

Обруганный молча выслушал брань Аракчеева, отправился домой, написал письмо Аракчееву и

застрелился.

Лен был сподвижником Суворова и георгиевским кавалером. Кроме того, он был лично известен Павлу, рекомендованный ему графом РумянцевымЗадунайским. Смерть храброго боевого офицера по вине Аракчеева, который никогда ни в каких боях личного участия не принимал и считался трусом, наделала много шума. Дошло до Павла, тот потребовал письмо Лена, а тут еще Павел узнал, что Аракчеев в строю осыпал ругательствами преображенцев и, обходя ряды, колотил кого попало ударами своей трости.

Аракчеев был отставлен от службы, впрочем, с производством в генерал-лейтенанты, и уехал в свое Грузино.

Это было в начале февраля 1798 г., а 7 мая того же года, во время поездки Павла с сыновьями в Москву, Александр из Валдая написал Аракчееву письмо, полное уверений в «верной дружбе» и любви. А в конце июня наследник уже с радостью сообщает Аракчееву весть о вызове его из Грузина в Петербург.

К общему ужасу Аракчеев вернулся к прежней службе и был осыпан наградами.

Но в следующем, 1799 году Аракчеев опять попался на прямом и гнусном обмане царя и вторично подвергся опале.

1 октября на вахт-параде распространилась радостная весть об отставке Аракчеева. На плацу был и Александр: он подошел к генерал-майору П.А. Тучкову со словами:

— А слышал ты об Аракчееве и знаешь, кто вместо него назначен?

— Знаю, Ваше Высочество, Образанцев.

— Каков он?

— Он пожилой человек, может быть, не так знает фронттовую часть, но говорят, добрый и честный человек. /16/

— Ну, слава богу, — отвечал Александр, — эти назначения настоящая лотерея: могли бы попасть опять на такого мерзавца, как Аракчеев.

А 15-го того же октября Александр написал этому «мерзавцу» письмо, в котором говорит:

«Я надеюсь, друг мой, что мне нужды нет при сем несчастном случае возобновить уверение в моей непрестанной дружбе; ты имел довольно опытов об оной, и я уверен, что об ней и не сомневаешься. Поверь, что она никогда не переменится».

Дальше идут сообщения о деле Аракчеева, и в заключение:

«Прощай, друг мой, Алексей Андреевич! Не забывай меня, будь здоров и думай, что у тебя верный во мне друг остается».

И действительно, этой «непрестанной» дружбе Александр остался верен до гроба.

Характерно то, что возникновение этой неизменной дружбы к «мерзавцу» относится к юношеским годам Александра, ко времени его возвышеннейшего идеализма, и затем уже, при всех перипетиях бурного царствования и при всех переменах в судьбе и в личности Александра, дружба эта одна сохранила всю свою незыблемость. Не было даже таких временных размолвок, как при Павле...

Чем объяснить это загадочное явление? Самое простое объяснение — в безволии Александра. Капрал с такой неукоснительной волей, как Аракчеев, этот прямолинейный, ни перед чем не задумывавшийся и ни перед чем не останавливавшийся щедринский «прохвост» Угрюм-Бурчеев,

подчинил себе слабовольного щедринского Грустилова и совершенно поработил его волю.

Объяснение это соблазнительно своей простотой, но в самой этой простоте кроется соблазн ошибки.

Не было, кажется, на Руси человека более ненавистного, чем Аракчеев. Его ненавидели солдаты, ненавидели крестьяне, которых он терзал в своих военных поселениях, ненавидело офицерство, дворянство, ненавидели самые влиятельные придворные и сановники, ненавидели ближайшие друзья Александра.

И сквозь всю эту страшную ненависть сумел Александр, в течение всех почти трех десятилетий своей /17/ сознательной жизни, пронести эту дружбу с гатчинским капралом, грубым, лишенным и тени какого-либо благородства. Этой дружбе не помешала такому эстету, каким был Александр, даже отталкивающая внешность Аракчеева.

«По наружности Аракчеев походил на большую обезьяну в мундире. Он был высок ростом, худощав, жилист; в его складе не было ничего стройного, так как он был очень сутуловат и имел длинную, тонкую шею, на которой можно было бы изучать анатомию жил и мышц. Сверх того, он как-то судорожно морщил подбородок. У него были большие мясистые уши, толстая безобразная голова, всегда наклоненная в сторону, щеки впалые, нос широкий и угловатый, ноздри вздутые, рот большой, лоб нависший. Чтобы дорисовать его портрет — у него были серые глаза, и все выражение его лица представляло странную смесь ума и злости».

Мог ли Александр удалить Аракчеева, если б захотел? Конечно, мог. Кроме общего сочувствия, радости и благодарности сановников, армии, высшего дворянства и тех масс, которые могли бы на это реагировать, Александр бы ничего не встретил.

Сам же Аракчеев, лишенный царского покровительства, был нисколько не страшен. Как все жестокие люди, Аракчеев был большой трус, или, как все трусы, он был жесток, пока чувствовал за собою силу. Но при малейшей опале он впадал в малодушие и унижение.

Александр же был, во-первых, далеко не труслив, во-вторых, при кажущемся безволии умел бывать и весьма решительным.

Граф фон-дер-Пален был не чета гатчинскому капралу. Это был человек смелый, решительный и гордый, притом образованный и знатный. В должности военного генерал-губернатора он имел в своем распоряжении петербургский гарнизон, который питал к нему не такие чувства, какие питала армия и в особенности гвардия к Аракчееву. Положение Александра в начале царствования было еще довольно двусмысленно и щекотливо. Среди шумного ликования было не мало недовольных /18/ новым курсом. Наконец, известно, какую решающую, исключительную роль сыграла энергия Палена в деле убийства Павла и возведения на престол Александра.

И вот, задумав отделаться от Палена, который держал себя слишком независимо, Александр, всего месяца через три после вступления на престол, издал такой указ:

«Снисходя на всеподданнейшее прошение генерала-от-кавалерии, Санкт-Петербургского военного губернатора и управляющего гражданской частью в Санкт-Петербургской, Лифляндской, Эстляндской и Курляндской губерниях графа фон-дер-Палена, всемилостивейше увольняем его, за болезнью, от всех дел».

В действительности же дело было так. Когда Пален подъехал к Зимнему дворцу, его встретил флигель-адъютант с приказанием императора Александра немедленно оставить Петербург и удалиться в свои курляндские поместья.

Так решительно, одним ударом, покончил «безвольный» Александр с грозным временщиком, которого называли «ливонским великим визирем».

Это проявление воли молодого царя тогда прошло как-то не замеченным. Вигель в своих записках объясняет это так:

«Сей первый пример искусства и решимости нового государя, боготворимого и угрожаемого в одно время, и кого положение было не без затруднений, мог бы удивить и при Павле, когда такие известия почитали самыми обыкновенными. Но Москва и Россия утопали тогда в веселии; сие важное происшествие едва было замечено людьми, еще хмельными от радости».

До того ли было, чтобы замечать такие проявления характера, когда вдруг можно было носить круглые шляпы, фраки и панталоны, а каждый день приносил новые примеры «свободомыслия» Александра, а восторженные оды, в стихах и в прозе, сыпались дождем.

Когда военный губернатор, в интересах военной выправки, осведомился, не прикажет ли государь сделать распоряжение относительно одежды офицеров, Александр ответил:

— Ах, боже мой! Пусть они ходят, как хотят; мне легче будет распознать порядочного человека от дряни. /19/

Трошинский представил к подписанию милостивый манифест, начинавшийся как обычно: «По сродному нам к верноподданным нашим милосердию...», Александр зачеркнул эти слова, заметив:

— Пусть народ это думает и говорит, а не нам этим хвастаться.

Когда в другой раз тот же Трошинский принес указ Сенату с обычным началом: «Указ нашему Сенату», Александр возразил.

— Как, — сказал он, — «нашему Сенату»? Сенат есть священное хранилище законов; он учрежден, что бы нас просвещать. Сенат не наш, он Сенат империи. — И с того времени стали писать: «Правительствующий Сенат».

Через сто с лишком лет после этого Николай II, на петергофских совещаниях предлагал, чтобы Дума называлась не государственной, а государевой... /20/

4. Самодержавная воля

Легенда о безволии Александра до того укоренилась, что проницательный Герцен назвал его «коронованным Гамлетом», а в дальнейшем даже подставили под эту легенду научный фундамент в форме психиатрического анализа личности Александра.

Профессор Н.Н. Фирсов в своем историко-психологическом этюде «Император Александр и его душевная драма» говорит по поводу отношения юного Александра к Чарторыжскому и к Польше:

«Молодой человек, так легко подпавший под влияние своих эмоций, разумеется, не был обладателем устойчивой, крепкой воли; а волевая слабость Александра постоянно вела его к подчинению тому или другому влиянию, вызывавшему, обыкновенно, в нем сильное душевное движение и увлекавшему его к соответственным поступкам... Нередко в этих поступках Александр противоречил сам себе, что навлекало на него обвинение в двуличности, в рассчитанном вероломстве, тогда как это противоречие обуславливалось слишком порывистою впечатлительностью и недостатком воли. Это основные черты характера Александра I», — уверяет автор.

Проф. Сикорский, тот самый, который столь неизгладимо скомпрометировал себя своей щеголовитовской экспертизой в деле Бейлиса, посвятил в «Вопросах нервно-психиатрической медицины» специальное исследование личности Александра I. /21/

Проф. Сикорский находит у Александра болезненно недоразвитый характер в волевом отношении, при удовлетворительном развитии ума и чувств.

«Подобный характер», — говорит специалист-психиатр, — остается без особенных последствий в некоторых профессиях, в особенности в профессиях умственного труда (ученые, художники, артисты). Но в тех профессиях, где требуется практическая деятельность, в особенности там, где необходимо влияние на людей, управление массами, где предстоит выбор и смена сотрудников, словом, в сфере политической и административной, люди с недоразвитой волей часто оказываются бессильными и бездеятельными. Для неограниченного монарха подобный характер является

роковым, служа соблазном для простора и смелости временщиков».

«Таким характером отличался император Александр I».

«Александр I был натура, одаренная тонким художественным развитием чувств при среднем уме и слабой воле. В этом особенном состоянии душевных сил, в этой психической односторонности и несоизмеримости кроется разгадка всех противоположностей и неожиданностей, которыми переполнена была жизнь этого глубоко симпатичного и столь же несчастного человека».

И далее:

«Слабость воли и преобладание чувства, — этот роковой порок души сказывался более всего при встрече личности Александра с другими.

При таких свойствах своего характера Александр I не только не мог отстоять своих принципов, но был бессилён защищать свою собственную личность от нравственного порабощения грубых и сильных людей, лишенных того тонкого понимания и чутья истины, каким обладал император. Фанатический узкий ум Фотия и грубая практическая душа Аракчеева овладели Александром и подчинили его себе».

Все эти заключения проф. Сикорского, может быть, и очень интересны, но в них есть один существенный недостаток: они находятся в явном противоречии с фактами. /22/

И притом, не с какими-нибудь неизвестными или спорными фактами, а с теми фактами, которые незыблемо установлены и всеми историками, исследовавшими личность и эпоху Александра I, и всеми многочисленными опубликованными записками, письмами, воспоминаниями и свидетельствами современников Александра I.

Легенда о безволии Александра I стала почти общим местом, и проф. Сикорский только подводит мнимонаучный фундамент под это общее место.

Между тем, нет ни одного факта, который свидетельствовал бы о том, что Александр действовал под влиянием чужой воли и был какой-нибудь чужой волей поработен.

Мы видели уже, как круто и смело расправился он с таким властным временщиком, как фон-дер-Пален. Правда, иные думали, что тут сыграли решающую роль неприязнь вдовствующей императрицы Марии Федоровны к фон-дер-Палену и происшедшее между ними столкновение из-за какой-то иконы, которую Мария Федоровна распорядилась повесить в воспитательном доме, а Пален велел снять. Но мы знаем, как ловко и вместе твердо Александр сумел устранить свою мать от всякого влияния на дела управления.

Он самым почтительным образом удовлетворял ее тщеславию, предоставил ей весь блеск придворной жизни, но отлично знал, что после смерти Павла она возмечтала было о роли Екатерины II и не прочь была возложить окровавленную корону на свою голову, и, с присущей ему дипломатической ловкостью, сумел ее поставить в такие рамки, которые не давали ни малейшего исхода ее властолюбию.

С молодыми друзьями своего негласного комитета, которые были образованнее его, он держался на дружескую ногу, был с ними обольстительно любезен, внимательно выслушивал их либеральные излияния, сам перед ними изливался, делил их мечты, но как только дело доходило до каких-либо попыток осуществления этих мечтаний, Александр отмалчивался, становился непроницаемым и неукоснительно вел свою линию.

Ни Чарторийский, ни Новосильцев, ни Кочубей /23/ не добились, в конце концов, ничего и никакого действительного влияния ни на внешнюю, ни на внутреннюю политику Александра не оказали.

Между прочим, Чарторийский сообщает интересный эпизод, удивительно напоминающий такого же рода эпизод, о котором Бисмарк рассказывает в своих мемуарах о Вильгельме.

Еще в ноябре 1887 года, когда был жив не только отец Вильгельма, кронпринц Фридрих, но еще царствовал дед, молодой Вильгельм сочинил воззвание, которое он составил «ввиду возможности близкой или неожиданной смерти императора и моего отца. Это краткий манифест моим будущим коллегам, германским имперским князьям».

«Моя мысль и мое желание», — писал Бисмарку юный Вильгельм, — «заключаются в том, чтобы это воззвание после рассмотрения, а в случае надобности и изменения вашей светлостью, было в запечатанном пакете депонировано в каждом посольстве и немедленно по вступлении моем в управление государством было передано послами соответствующим князьям».

Бисмарк, естественно, пришел в ужас от этого послания и, совершенно больной, поспешил в обстоятельном письме почтительно, но твердо указать чересчур торопливому юноше на все неприличие и бестактность этой торопливости и настоятельно советовал Вильгельму сжечь свое воззвание.

Князь Адам Чарторийский рассказывает, что еще во время коронации Павла в Москве Александр поручил Чарторийскому составить проект манифеста на случай вступления Александра на престол и о возведении его намерений в момент принятия им верховной власти.

Чарторийский упорно отказывался от этого странного и опасного поручения, но Александр и тогда сумел настоять на своем. Чарторийский, скрепя сердце, сочинил проект манифеста.

«Я не знаю, что случилось с этой бумагой», — пишет Чарторийский. — «Я полагаю, что Александр никому не показал ее; он никогда более не заговаривал о ней со мною. Надеюсь, что он сжег ее, поняв безрассудность документа, /24/ в коей сам я ни минуты не сомневался, когда приступил к его изложению».

К началу царствования Александра I относится и его стычка с министром юстиции Державиным. 60-летний поэт, давно прославившийся не только в России, но и в Европе, искусившийся в службе при Екатерине, сумевший ладить даже с Павлом, услышал от молодого царя такой окрик:

— Ты все хочешь учить, а я — самодержавный царь и хочу, чтобы было так, а не иначе!

Как это поразительно похоже на вильгельмовское «*sic volo, sic jubeo*». Выходки Вильгельма II порою напоминают плагиат более ранних выходок Александра I. Между тем, Вильгельм страдал избытком волевых импульсов, Александр же считался «безвольным».

Князь Чарторийский, человек умный и проницательный, притом прекрасно знавший Александра, друг его юности, прямо говорит о нем:

«Император любит внешние формы свободы, как можно любить представление. Он любовался собою при внешнем виде либерального правления, потому что это льстило его тщеславию; но кроме формы и внешности он ничего не хотел и ничуть не был расположен терпеть, чтобы они обратились в действительность; одним словом, он охотно согласился бы на то, чтобы каждый был свободен, лишь бы все добровольно исполняли только его волю».

Это свидетельство близкого друга юности Александра, человека умного и проницательного, прекрасно знавшего Александра, кажется, довольно красноречиво, и можно только удивляться, как оно не помешало утверждению исторической легенды о безволии Александра.

В начале 1803 года произошло весьма знаменательное столкновение Александра с Сенатом, и тут Александр обнаружил такую непреклонность своей самодержавной воли, какую не всегда позволяли себе даже люди таких ярких волевых импульсов, как Бисмарк или Вильгельм II.

В начале 1803 года Сенат, по инициативе графа Северина Потоцкого, убежденного в искренности либеральных /25/ взглядов императора, вздумал воспользоваться предоставленным ему законом правом всеподданнейших представлений. Дело касалось обязательной 12-летней службы дворян унтер-офицерского звания, не дослужившихся до офицерства. Доклад по этому вопросу министра военно-сухопутных сил был высочайше утвержден 5-го декабря 1802 года; состоявшийся затем указ прошел в общем собрании Сената без всякого замечания и был отослан в военную коллегию

для исполнения.

Вслед затем, 16-го января 1803 года, в общем собрании Сената прочитана была записка, содержащая в себе критику доклада военной коллегии, нарушившего права дворянства, которые Александр торжественно признал и удостоверил «коренным и непреложным законом». В заключение граф Потоцкий обращался к своим сотоварищам-сенаторам с увещанием не бояться злобы сильных и не колебаться, «когда священный глас должности взывает».

Поступок графа Потоцкого возбудил в обществе множество толков даже в провинции. В Москве мнение Потоцкого, как пишет Державин,

«знатное и, можно сказать, глупое дворянство приняло с восхищением, так что в многочисленных собраниях клали его списки на голову и пили за здоровье графа Потоцкого, почитая его покровителем российского дворянства и защитником от угнетения, а глупейшие или подлейшие души не устыдились бьюты Державина (министра юстиции) и Вязмитинова (военного м-ра), яко злодеев, выставить на перекрестках, замарав их дерьмом для поругания, не проникая в то, что попусшением молодого дворянства в праздность, негу и своеволие без службы подкапывались враги отечества под главную защиту государства».

Находя мнение Потоцкого возмутительным по отношению к самодержавной власти, Державин считал нужным испросить «высочайшую волю», вносить ли его в Сенат.

Император, как пишет Державин, отвечал резко:

— Что же? Мне не запретить мыслить, кто как хочет! — Пусть его подает в Сенат, пусть рассуждает.

Когда Державин заговорил о вреде таких мнений, /26/ особенно когда они подаются несвоевременно, государь сказал:

— Сенат это и рассудит, я не мешаюсь. Прикажете доложить!..

Итак, казалось бы, либерализм и чувство законности восторжествовали.

Но... слушание записки Потоцкого в Сенате вызвало бурное заседание и великое смятение: большинство присоединилось к Потоцкому и положило войти к государю с представлением о пересмотре министрами доклада Вязмитинова. Державин донес императору, что сенат весь против него; Александр так сильно встревожился, что побледнел, но разрешил министру действовать по закону.

По-видимому, опять победило чувство законности.

Но, когда генерал-прокурор дал согласительное предложение Сенату, которое не имело успеха и большинство все-таки осталось на стороне Потоцкого, Александр, узнав об этом, с негодованием сказал:

— Я им дам себя знать.

И действительно дал себя знать, ловко, дипломатично и решительно.

Задержав поступившее к нему дело до Фоминой и более о нем не упоминая, Александр, наконец, позволил, чтобы, на основании данного Сенату права, от него явилась депутация для объяснения дела. Ее составляли, со стороны большинства, граф А.С. Строганов и Д.П. Трошинский; единственный же представитель противоположного мнения был сопровождавший их генерал-прокурор, т.е. министр юстиции Державин.

«При вступлении в кабинет», — пишет Державин, — «хотя еще светло было, но неизвестно для чего гардины у окон были завешены и горели свечи. Великая везде была тишина и государь один дожидался. Приняв весьма важно сам при письменном столе, и депутаты (приказал) садиться, не говоря никому ни одного слова. Потом приказал Трошинскому читать бумаги, т.е. мнение

Потоцкого, резолюцию Сената, предложение согласительное Державина и, наконец, последнее сенатское мнение. По выслушании встал, весьма сухо сказал, что он даст указ, и откланялся». /27/

Указ действительно последовал 21 марта 1803 года. В нем было много пышных фраз по адресу дворянства и Сената, но по существу Сенату ставилось на вид, что он вмешался не в свое дело.

Этим афронтом Сенату все и кончилось.

При этом надо еще учитывать и то, что Александр побаивался дворянства, и побаивался его больше, чем «якобинцев», а впоследствии членов тайных обществ. Он отлично знал, что цареубийство было одной из неписаных привилегий дворянства, «якобинцы» же, как впоследствии декабристы, скорее ограничатся одними разговорами о цареубийстве.

При этом столкновении Александра I с Сенатом царю шел только 26 год, а в Сенате сидели убеленные сединами сановники трех царствований, первые столпы высшей бюрократии. И все-таки самодержавная воля молодого человека поставила на своем.

И при наличии таких документальных и непреложно установленных фактов находятся и маститые историки и ученые психиатры, серьезно толкующие об отсутствии воли у Александра I...

Так силен гипноз укоренившейся легенды...

Как же, однако, согласовать все эти проявления самодержавного пафоса с установившимся убеждением, что «дней Александровых прекрасное начало» было эпохой расцвета самодержавного вольнолюбия и высочайшего либерализма, а только потом, под влиянием разных условий и обстоятельств, либерализм этот все более тускнел, затем совсем погас и сменился палочным аракчеевским капральством?

Не объясняется ли это тем, что таковы вообще были преобладающие свойства русского дворянского либерализма, тем, что русские усадебные или бюрократические «вольтерианцы» и «якобинцы» всех XIV классов табели о рангах допускали либерализм, как некое пикантное и ни к чему не обязывающее «словесное распутство».

А, глядишь, наш Мирабо
Старого Гаврилу,
За измятое жабо,
Хлещет в ус и в рыло... /28/
А, глядишь, наш Лафайет,
Брут или Фабриций
Мужика под пресс кладет
Вместе с свекловицей...

Александр был сыном своего времени, он вспоен был его духом и запечатлен его чертами...

Впрочем, и «Мирабо», и прикосновенность «рыла», и либерализм, и реакционность — все эти смены течения были только рябью, которая бороздила поверхности русской жизни. Глубины подлинной толщи народной жизни это нисколько не отражало, и на нее почти никак не влияло.

Просветительная деятельность не достигала народных глубин, как хорошие книги, которые нарочно переводились и издавались по царскому соизволению и порою даже его иждивением, совершенно не существовали для неграмотной массы, как всякие «вольности» и «неотъемлемые права» человека и гражданина были безразличны для крепостного народа. Все это были даже не надстройки над подлинной социальной структурой, над экономическим фундаментом, а какие-то узоры и завитушки, не имевшие никакого конструктивного значения.

Этим и объясняется та «легкость необыкновенная» не только в мыслях, но и в поступках, с которой можно было переходить от конституции к экзекуции, от юстиции к полиции, от Сперанского к Аракчееву. /29/

5. Еще доказательства воли

В начале того же 1803 года Александр еще раз убедительно продемонстрировал свою волю, смело идя наперекор и всему общественному мнению страны, насколько оно могло тогда выявляться, и всем окружавшим царя сотрудникам и, — что, казалось бы, должно было страшить его более всего, — чувству и мнению армии и гвардии.

В конце апреля Александр вызвал к себе из Грузина Аракчеева, а в мае того же года это исчадие павловского маньячества, этот всеми уже тогда ненавидимый живодер был восстановлен в своей прежней должности инспектора всей кавалерии и командира лейб-гвардии артиллерийского батальона. Все пущенные в ход против этого назначения хлопоты, старания, интриги ни к чему не привели, и Александр, вопреки всем и всему, осуществил свою волю. Субъект, которого Александр, считая «мерзавцем», уверял в своей «верной дружбе» и которого современники и потомки в один голос называли «вреднейшим человеком в России», — стал, по твердой воле Александра, неизменным и бессменным, ближайшим и довереннейшим спутником всего четвертьвекового бурного и пестрого царствования.

С еще большей убедительностью разрушает легенду о безволии Александра I его отношение к Сперанскому.

Этот человек настойчивой воли и железной выдержки, начав службу еще при Павле, стал выдвигаться в первые годы царствования Александра. /30/

Чтобы из рядового поповича выдвинуться на самую вершину бюрократического Олимпа, ревниво оберегаемую для «своих» жадными представителями «первенствующего сословия», всей силой родства, связей, фаворитизма и протекции, надо было обладать волей и способностями, далеко выходящими из ряда.

Личное знакомство Александра со Сперанским началось только в 1806 г. Никто не умел так ясно, толково и убедительно писать казенные бумаги, как Сперанский, никто из окружающих царя не умел так строго и логично мыслить.

Замечательную характеристику Сперанского дает Л.Н. Толстой в «Войне и мире».

«Вся фигура Сперанского имела особенный тип, по которому сейчас можно было узнать его. Ни у кого из того общества, в котором жил князь Андрей, он не видал этого спокойствия, самоуверенности, неловких и тупых движений; ни у кого он не видал такого твердого и вместе мягкого взгляда полужакрытых и несколько влажных глаз, не видал такой твердости ничего не значущей улыбки, такого тонкого, ровного, тихого голоса и, главное, такой нежной белизны лица и особенно рук, несколько широких, но необыкновенно пухлых, нежных и белых».

При дальнейшем знакомстве со Сперанским кн. Андрей Волконский

«видел в нем разумного, строго мыслящего, огромного ума человека, энергией и упорством достигшего власти и употребляющего ее только для блага России. Сперанский, в глазах кн. Андрея, был именно тот человек, разумно объясняющий все явления жизни, признающий значительным только то, что разумно, и ко всему умеющий прилагать мерило разумности, которым он сам так хотел быть. Все представлялось так просто, ясно в изложении Сперанского, что кн. Андрей невольно соглашался с ним во всем».

У него было все то, что недоставало Александру: строго логический ум, исключительная трудоспособность, ясность и определенность и громадная настойчивость. Все, что было достигнуто в смысле упорядочения управления, было сделано Сперанским. Но и над ним тяготела якобы колеблющаяся, расплывчатая, а в сущности /31/ непреклонная воля «безвольного» царя, и Сперанскому удалось сделать лишь то небольшое, что угодно было допустить Александру.

Когда же Сперанский стал неудобен, когда Александр убедился, что реформаторские стремления Сперанского идут дальше царских намерений, он спокойно предал его. Александр, который никогда не считался со всеобщей ненавистью к Аракчееву, вдруг поддался подозрениям против Сперанского, которым сам ни минуты не верил, и отправил его в ссылку. И тут Александру удалось то, к чему он всегда стремился. Он сломил волю этого сильного человека и сделал его своим рабом

до того, что Сперанский вернулся к нему другим человеком, человеком, который стал пресмыкаться перед Аракчеевым и написал апологию военным поселениям.

Не очень церемонился Александр и с друзьями юности своей, с членами «негласного комитета», с гр. Кочубеем и с кн. Адамом Чарторийским.

Отделавшись — и очень решительно — от гр. Никиты Панина, Александр передал управление внешними делами гр. В.П. Кочубею. Кочубей предпочитал дела внутреннего управления, и положение руководителя русской дипломатии ему ни мало не улыбалось, что он искренно и откровенно и высказывал. Но царь с этим совершенно не считался.

Назначение Кочубея состоялось внезапно, без всякого предупреждения, и он узнал об этом на балу. Это назначение явилось признаком усиливавшейся самостоятельности государя, и Кочубей справедливо заметил: «l'empereur a une volonte».

«Сделавшись руководителем русской дипломатии», — говорит Шильдер, — «гр. Кочубей остался верен высказанным ранее убеждениям: держаться в стороне от европейских дел, вмешиваться в них как можно менее и быть в хороших отношениях со всеми, чтобы иметь возможность все время и все внимание посвящать улучшению внутреннего положения империи. — Россия, — говорил Кочубей, — достаточно велика и могущественна пространством, населением и положением, она безопасна со всех сторон, лишь бы сама оставляла других в покое. Она слишком часто и без малейшего повода вмешивалась /32/ в дела, прямо до нее не касавшиеся. Никакое событие не могло произойти в Европе без того, чтобы она не предъявила притязания на участие в нем. Она вела войны бесполезные и дорого ей стоившие... Русские гибли в этих войнах; с отчаянием поставляли они все более рекрутов и платили все больше налогов».

Кочубей верил, что этих вполне разумных взглядов придерживается и Александр, и последний его в этом не разубеждал.

Но слишком скоро, уже в конце 1801 г., Кочубей заметил, что царь самостоятельно, за спиной своего друга и министра, ведет свою собственную внешнюю политику, идущую вразрез с интересами России.

В апреле 1802 г., за спиной гр. Кочубея, была подготовлена поездка русского царя в Мемель для свидания с королем прусским...

Объясняют это тем, что сказалось гатчинское воспитание Александра. Прусские войска считались образцом и почти недостижимым идеалом в глазах людей, одержимых гатчинской парадоманией. Притом, как замечает кн. Чарторийский, Александр радовался также знакомству с прекрасной королевой Луизой и возможности порисоваться перед ней и иностранным двором.

Александр уверял, что поездка в Мемель не имела решительно никакой политической цели, и это, конечно, была заведомая неправда.

Тут именно и было положено начало той прусской дружбе, которая, вопреки взгляду русского руководителя внешней политики, втравивала Россию в бесконечный ряд войн «ради прекрасных глаз» прусской королевы.

Не только Кочубей, но и кн. Чарторийский, в качестве польского патриота ненавидевший Пруссию, вполне оценивал пагубное значение этих прусских симпатий Александра для всей будущей политики его и, на правах старой дружбы, откровенно высказал это царю.

«Я смотрю на это свидание», — писал он, — «как на одно из самых несчастных происшествий для России как по своим непосредственным последствиям, так и по тем, которые оно имело и будет иметь. Интимная дружба, которая связала ваше императорское величество с королем /34/ после нескольких дней знакомства, привела к тому, что вы **перестали рассматривать Пруссию, как политическое государство, но увидели в ней дорогую вам особу, по отношению к которой признали необходимым руководствоваться особыми обязательствами**».

И чувство дружбы к прусскому королю, как и доверие к Аракчееву, и любовь к сестре своей Екатерине Павловне, кажется, единственные чувства, которым Александр остался верен до конца

дней своих.

Как кн. Кочубей был против воли своей, лишь вынужденный подчиниться воле Александра, назначен министром иностранных дел, так и князь Александр Васильевич Голицын, человек тогда более чем равнодушный к религии, отличавшийся вольнодумством и ведший веселый разгульный светский образ жизни, был за обедом в Таврическом дворце неожиданно назначен обер-прокурором св. синода.

— Ты можешь отговариваться, как тебе угодно, — заявил Александр, — но все же ты будешь синодским обер-прокурором.

И так как царь дал при этом Голицыну и звание статс-секретаря, и право непосредственного доклада, то ему и удалось, опираясь на поддержку Александра, привести синод и все высшее духовенство, имевшее склонность будировать при прежнем обер-прокуроре, Яковлеве, к полной покорности.

Таким образом и «правительствующий» сенат, и «святейший» синод были уже в начале царствования Александра лишены всякой самостоятельности и приведены в совершенное подчинение воле монаршей.

Светский шалопай из гвардейских офицеров довольно скоро проникся религиозными интересами и стал в этом направлении усердствовать даже чересчур, так что впоследствии, когда фанатическая религиозность обуяла и Александра, Голицын был его верным наперстником. И на этом пути он даже опережал Александра в блужданиях его мятущейся души по темным извилинам мистицизма. /34/

6. Александр и Наполеон

Внешняя политика — эта та сфера, в которой Александр I ярче и полнее всего проявлял свою личную инициативу.

При старании написать портрет и дать характеристику лица с таким положением, как русский царь или вообще владыка обширного государства, приходится преодолевать многие особые условия.

Приходится преодолеть и обманы исторической перспективы, умерить блеск искусственных ореолов и соблазны тех преувеличений, которые искажают все размеры.

Ношение круглых шляп, панталон и фраков, появившихся чуть ли не на второй день после смерти Павла, казались многим, и вполне искренне, началом новой эры и радостным сиянием вззошедшей свободы.

Самые обыкновенные для обыкновенного человека проявления простого здравого смысла, когда их проявляет монарх, не только официально прославляются, как необыкновенная глубочайшая мудрость, но зачастую и в сферах неофициальных принимаются, как нечто исключительное, как признак ума и души необыкновенной.

Точно монархи должны говорить только глупости, — делать только бестактности, проявлять только жестокость. А если царь или король скажет умное слово, обнаружит такт или уклонится от ненужной жестокости, то это считается чуть ли не чудом, божьим даром, достойным особого прославления. /35/

Александр I был именно таким чудом, и прозван за это «благословенным».

Он иногда говорил умно и дельно, правда, почти не претворяя этих слов в дело, он бывал обаятелен в личных отношениях.

Много ли, однако, выиграла от этого Россия?

Впрочем, России-то Александр и не знал, да, пожалуй, и знать не хотел. Подобно бабушке своей,

он был актером, но играл он, главным образом, не для России, а для Европы.

— Что скажет Европа? — этот вопрос занимал его прежде всего.

— Что скажет Россия? — этот вопрос не был для него ни так ясен, ни так прост, ни так интересен.

Что такое Россия?

Александр знал русское дворянство, преимущественно высший слой его. Он и не любил его, и презирал.

Александр близко видел знать, пресмыкавшуюся перед фаворитами Екатерины, он видел и знал все ее низкопоклонство, он видел слишком много примеров подлости, продажности, отвратительного холопства, он знал, как она, эта знать, обворовывала и грабила несчастную страну. Наконец, он знал, что эти знатные холопы путем военного заговора возвели на престол его бабушку, помогли ей убить деда и убили отца.

Эту «Россию» придворных фаворитов и их приспешников Александр хорошо знал, но ни любить ее, ни уважать, ни доверять ей, конечно, не мог.

Третьего сословия почти не было еще на Руси, а купцы считались сословием мошенников. А дальше была крестьянская и рабочая крепостная масса, люди, которых можно было покупать, продавать и выменивать на собак, да, напаяв на них солдатские мундиры, забивать палками.

К этой темной массе коронованный эстет мог относиться только с истинно барской безразличностью, а в лучшем случае с обидной жалостью, не лишенной того же чувства безразличности. Было даже как-то /36/ неловко перед Европой, что ему приходится царствовать над такой массой «полудиких рабов».

Интереснее всего было удивлять всех вольнолюбивыми планами о преобразованиях, рядиться в либерализм англо-французского фасона и заниматься царственным спортом. Этот царственный спорт заключался в той игре в солдатики, страсть к которой Александр унаследовал от отца, в этой парадомании и в более тонкой и сложной игре дипломатической на европейской шахматной доске, так как тут можно было рисоваться перед Европой и попутно осуществлять свои родовые немецкие симпатии.

Все же Александр был почти чистокровный немец и Романовым назывался облыжно, как и все послепетровские цари.

Только по неизбывной иронии истории вышло так, что этот немец стал героем «отечественной войны».

Во дни Александра дипломатия, еще больше, чем в наши дни, была сплошным мошенничеством.

Это была шулерская игра с краплеными картами, с подсиживаниями и подлогами, и все дело было только в том, кто ловчее передернет карту.

Но так как в этой мошеннической игре короли были живые, как и тузы, и валеты, и проч., а ставкой были народы, страны и государства, то эта крупная азартная и шулерская игра считалась царственной забавой по преимуществу.

Вначале Александр был очень неловок в этой игре, но скоро он постиг ее хитрости и подвохи и оказался одним из самых крупных игроков за европейским карточным столом.

Еще в большей мере, чем в первое столетие петербургского периода своей истории, Россия стала игрушкой в этой царственной азартной игре.

Александр тогда недооценивал Наполеона, который с таким дьявольским искусством сумел пафос великой революции отвести в русло своего честолюбия. Истинно-немецкое сердце этого

коронованного Вертера, плененное чарами «феи с берегов Шпрее», и наследственным преклонением перед прусской солдатчиной, обвешанной гением Великого Фридриха, отдало все /37/ силы и средства неведомой ему России на служение прусским интересам.

Сотни тысяч костромских, тамбовских, новгородских, самарских и прочая, и прочая мужиков, оторванных от хозяйства, от родины и семьи, втиснутых в железные прусские мундиры, вымуштрованные палками опрусаченных капралов, вынуждены были проливать свою кровь за интересы прусского короля. А прусский король, заключив дружественный союз с Александром, на всякий случай вступил в тайный союз и с Наполеоном, что, впрочем, не помешало ни Наполеону разгромить Пруссию, ни Александру вновь спасти ее кровью русских солдат.

Перед Аустерлицем Александр посылает к Наполеону для переговоров своего любимого генерал-адъютанта кн. Долгорукова, который, по словам Наполеона, разговаривал с ним в таком тоне, точно Наполеон «был боярин, которого собираются сослать в Сибирь». Из этих переговоров, конечно, ничего не вышло, бой стал неизбежным, хотя Наполеон тогда вполне искренно не желал войны с Россией. К несчастью, Александр не послушался советов ни своего друга Чарторийского, ни номинального — им же лишеной всякой действительной власти — главнокомандующего Кутузова, и остался при армии. Фактически все командование очутилось в руках австрийского квартирмейстера Вейротера, который и составил свой план сражения. Русские генералы с Кутузовым во главе видели совершенную негодность этого бумажного плана и предвидели неизбежность поражения. Притом русские войска по обыкновению были голодны и необуты, вынуждены были питаться реквизициями и восстановили против себя население.

Но самодержавная воля Александра ни с чем и ни с кем по обыкновению считаться не желала, и в результате одна из самых блистательных побед Наполеона и одно из самых решительных поражений союзников, австрийцев и русских. Сам Александр только случайно не попал в плен к Наполеону.

При этом замечательно, что австрийцы, за которых и дрались русские, потеряли шесть тысяч человек, а русские около 21.000.../38/

Повоевав еще года два в интересах Пруссии, уже успевшей отказаться от союза с Наполеоном, и потерпев жестокое поражение под Фридландом, Александр, наконец, убедился, что военными силами ему Пруссию не спасти, и решил мириться с Наполеоном.

Не прошло и месяца после Фридландского поражения, как состоялось унижительное для Александра Тильзитское свидание, которым началась знаменитая в истории с лишком четырехлетняя трагикомедия франко-русского союза.

Два величайших обманщика своего времени, два величайших обольстителя, каких знает мировая история несколько лет подряд, взапуски, под личиной самой тесной дружбы, старались всячески обмануть, обойти, провести, предать и обольстить друг друга.

В двенадцатилетнюю борьбу, которую непрерывно, с нечеловеческой энергией вел сначала генерал революционной армии, затем первый консул и, наконец, император французов против экономического преобладания Англии, вмешался третий игрок.

Гениальный авантюрист, душа которого была обвешана пламенным пафосом революции, ее стремительностью, всем напряжением ее энергии, истинный сын нового времени, встретил в этой игре, в лице русского императора, замечательного партнера.

Один — весь воплощение новых времен, самый яркий представитель третьего сословия, весь энергия, расчет, весь напряженная воля, направленная на внешний мир, на его покорение.

Он всюду вносит с собою разрушительные начала революции, пред ним падают все стены и обветшалые твердыни изжитого феодализма. Он напоминает какого-нибудь нефтяного или железнодорожного короля наших дней, главу и директора мирового треста, который устанавливает цены, диктует свою волю рынкам и биржам, разоряя одних, обогащая попутно других; он завоевывает концессии, держит в своих руках мировые связи, вызывает войны и

диктует условия мира.

Наполеон предвосхитил этот тип делового человека, охватывающего весь мир, опутывающего все страны сетью своих интересов, тип трестмэна, получившего /39/ такое развитие в Америке. Наполеон орудовал армиями и управлял странами, как в наше время орудуется директор какого-нибудь мирового треста армиями приказчиков, техников, инженеров и рабочих. Какой-нибудь Вандербильт, Рокфеллер, Ротшильд, Стиннес не богаче всех тех, с кем он борется. Но он умеет в каждом данном пункте, в каждый нужный момент сосредоточить больше средств и захватить добычу.

Наполеон орудовал старыми средствами, армиями и вооруженной силой, но он сумел дать этим старым силам новую организацию, он ввел новые методы борьбы, и эти методы усвоены теми вождями мирового капитализма, которых он был предтечей.

Наполеон был подлинным порождением духа революции, на ее пламенеющем горне получил он свой стальной закал, она сообщила ему этот орлиный размах, этот пафос, который он сумел оковать строгим, точным и холодным расчетом и учетом сил.

И с этим воплощением новой исторической эпохи пришлось встретиться Александру.

И у Александра была воля, но эта воля была направлена внутрь и служила только делу самосохранения и ограждения своей личности. Павловская наследственность сказалась в увлечении Александра чувством — в идее он его отрицал — самодовлеющего самодержавия. По той же наследственности и армия ведь становилась самоцелью. Недаром его дорогой друг Аракчеев считал, что «война портит армию», внося беспорядки в муштру, в нужную для парадов выправку.

Одним словом,

Я боюсь, в пылу сражений
Ты утратишь навсегда...

вид и приемы игрушечного солдатики, нарочито приспособленного для парадов.

— Ведь мы не на Царицыном лугу! — крикнул раз Александр Кутузову, когда тот во время австрийской кампании медлил перейти в наступление. /40/

— Именно потому, ваше величество, что мы не на Царицыном лугу, я и не решаюсь перейти в наступление, — ответил Кутузов, чем только увеличил давно накопившуюся к нему неприязнь Александра.

У Наполеона же ни что не было самоцелью. Для него все и все были только средствами.

Таким же средством был для него и Александр. /41/

7. От союза к войне

Наполеон всегда знал, чего он хотел, он всегда ставил перед собою ясную цель и всегда находил самые лучшие средства для ее достижения.

Александр, мечтательный и расплывчатый, никогда точно не знал, чего он хотел, колебался в выборе средств и путей. Он знал только, чего он не хотел.

Наполеон видел в Александре только средство, как и во всех людях; и в союзе с Россией Наполеон видел только средство, лучший и очень сильный козырь в своей борьбе с Англией для подрыва ее экономического преобладания.

Александр, в свою очередь, видел в союзе с Наполеоном только средство, но средство для чего?

На этот вопрос в его спутанном сознании ясного ответа не было.

Возвеличить Россию, захватить Константинополь и проливы. К этому он стремился больше по исторической инерции, унаследованной от Петра, от Екатерины, но и в стремлении к этой цели у него не было той последовательности и уверенности, которыми спаяны были все стремления Наполеона.

В душе Наполеона, как в свое время у Александра Македонского, у Цезаря и Августа, у Карла Великого, жила идея мировой монархии, объединяющей человечество, опрокидывающей все национальности и государственные перегородки.

Но Наполеон шел дальше. Он пытался и папу римского зачислить в свою свиту и его заставить служить /42/ себе, как он заставил служить себе все прочие силы старого мира: в его передней толпились короли, на бракосочетании его — католика, при живой жене — с представительницей самой древней в Европе и самой надменной владетельной аристократии шлейф новобрачной поддерживали пять королев.

Но, употребляя, как средство своего преуспевания все силы старого мира, заставив даже папу приехать к себе в Париж, Наполеон был ярким порождением новых времен и нового, победоносно вышедшего на политическую арену класса, третьего сословия, буржуазии.

Может быть, не все согласятся с тем, что Наполеон, который ослеплял своим необычайным блеском Байрона, Гейне, Пушкина и Лермонтова, Ницше и многих других — был сверхчеловеком, но во всяком случае он был сверхбуржуа.

Один из оригинальнейших и глубочайших американских мыслителей, американский Карлейль — Ральф Уальд Эмерсон — отлично это понял, хотя он исходил совершенно не из точки зрения антагонизма классов.

«Из знаменитых деятелей XIX столетия», говорит Эмерсон в своем очерке «Наполеон, или Человек мира сего», — «всех известнее, всех могущественнее является Бонапарт; он обязан своим преобладанием той верности, с которой он выражает склад мыслей, верований, целей большинства людей деятельных и образованных».

«В людском обществе установилось противоборство между теми, кто составил себе состояние, и между новичком и бедняком, которым еще надлежит устроить свою фортуна; между доходом с мертвого труда — т.е. с труда рук, давно покоящихся в могиле, но обративших его при жизни в капитал, земли, дома, доставшиеся праздным владельцам — и между домогательством труда живого, который тоже желает обладать домом, поместьем, капиталом. Первый класс робок, себялюбив, враг всяких нововведений, и смерть беспрестанно уменьшает его численность. Второй тоже себялюбив, задорен, отважен, самоуверен, всегда превосходит первых своим числом и ежечасно пополняет свои ряды рождением. Он хочет, чтобы пути совместничества были открыты для всех, и чтобы пути эти были /43/ размножены; к нему принадлежат люди ловкие, промышленные, деловые в целой Европе, Англии, Франции, Америке и повсюду. Их представитель — Наполеон. Инстинкт людей деятельных, добрых, смелых, принадлежащих к среднему сословию, повсеместно указывает на Наполеона как на воплощенного демократа. Но в нем находишь все качества и все пороки этой партии; в особенности же ее дух и цель. Направление это чисто материальное, предположенный успех удовлетворяет одну чувственность, и для такого конца употребляются средства изобильные и разнообразнейшие; короткое ознакомление с механическими силами, обширный ум, образованный основательно и многосторонне, но подчиняющий все силы ума и духа, как средство для достижения материального благополучия. Быть богатым — вот конечная цель. В коране сказано: “Аллах дарует каждому народу пророка, говорящего его собственным языком”. Париж, Лондон, Нью-Йорк, дух меркантильный, денежный, дух материального могущества, вероятно, тоже долженствовал возыметь своего пророка: Бонапарт получил это избрание и посольство».

И вот встретились они в Тильзите, в павильоне, устроенном на пароме среди реки, этот сверхбуржуа, представитель живого труда и живой предприимчивости, и наследственный представитель феодальных времен, представитель мертвого строя и мертвого труда, гениальный Фигаро и Дон-Карлос, который вместо одного маркиза Позы вмещал и Лагарпа, и Аракчеева.

Наполеон, победитель под Аустерлицем и Фридландом, оказался по отношению к побежденному

Александр победителем тем более великодушным, что великодушие, как и вообще какие-либо возвышенные чувства, были органически чужды ему. В угоду Александру он оказал даже некоторую пощаду несчастной Пруссии, почти уничтоженной им и безмерно униженной.

Красавица королева Луиза, вызывавшая такое рыцарское преклонение Александра, от встречи с Наполеоном вынесла самое горькое и обидное разочарование. Наполеон, относившийся к женщинам откровенно-цинично, нашел прусскую волшебницу прелестной, но /44/ не поступился ради ее прелестей ни одной пядью прусской земли и не пожертвовал ради нее ни одним кивером французского гренадера.

Наполеон, казалось, был в восторге от личности царя. Александр подпал под обаяние исключительного гения. Но у каждого было по камню за пазухой. Не только по крупному камню политического антагонизма, но также по мелкому камешку личной обиды.

Наполеон не мог забыть Александру его защиты не только интересов короля прусского, что можно было понять, но и глупой защиты интересов королей сардинского и неаполитанского, и затем резкого послания Александра по поводу расстрела герцога Ангиенского.

Александр не мог забыть этому «высочке» его злой отповеди на свое послание, в которой без всякой деликатности задето было самое больное место Александра, указание на убийство Павла и безнаказанность его убийц.

Дружба тянулась целые годы, угощали друг друга крупной лестью, обменивались ценными подарками и ничего не стоящими любезностями. Россия успела приобрести Молдавские княжества, завоевать и присоединить Финляндию, Наполеон получил возможность свободно хозяйничать в Европе и уже мечтал о походе при русской помощи на Индию, чтобы ударить Англию по карману в самом чувствительном для нее месте. Александр мечтал о Константинополе и проливах, и оба все время старались как можно меньше дать. Но дружба шла своим путем, хотя трения и взаимное недовольство все нарастали, недоверие же увеличиться не могло, так как оно с самого начала было достаточно полно.

Наполеон, раздав разные короны и престолы своим братьям и некоторым маршалам, мечтал о создании своей династии. Но брак его с Жозефиной был бездетен.

Разведшись с бесплодной женой, Наполеон задумал посвататься к одной из сестер Александра. Их было две на виду: ловкая, умная и честолюбивая любимица Александра, Екатерина Павловна, и ее младшая сестра, в то время девочка-подросток, Анна Павловна.

Александр, по обыкновению, вел себя очень уклончиво. Поставил дело так, что согласие всецело зависит /45/ от матери, а враждебность этой типичной немки, до конца жизни так и не научившейся говорить по-русски, к французскому высочке и узурпатору была слишком известна.

Пока в Петербурге тянули переговоры, медлили и увертывались, поспешив выдать Екатерину Павловну за принца Ольденбургского и оставляя вопрос об Анне открытым, Наполеон потерял терпение и сделал предложение дочери австрийского императора, и предложение это было с поспешной радостью принято.

Такой серьезный и проницательный историк, как французский академик Вандаль, написавший два объемистых тома специально на тему об отношениях Наполеона и Александра, видит в этом крупную ошибку Александра и русской дипломатии, которых австрийцы будто бы перехитрили.

В своем увлечении Наполеоном, французский историк забывает, что в конечном счете оказался прав Александр, который инстинктивно не верил в прочность Наполеонова могущества. Для этого, впрочем, и не требовалось исключительной проницательности. Сама мать Бонапартов, когда на ее сыновей и родственников стали в таком изобилии сыпаться короны и престолы, со вздохом озабоченной хозяйки говорила:

— Ох, как бы мне на старости лет не пришлось прокармливать всех этих королей...

Первые намеки на сватовство начались еще в Эрфурте. Для скрепления все слабевшего союза

двух обманывавших друг друга владык была создана еще более торжественная обстановка, чем в Тильзите.

Все, что было знатного, пышного и знаменитого во Франции и покоренной ею Европе, принимало участие в этой торжественной демонстрации дружбы, фальшивой с начала и в корне подточенной к тому времени взаимными обманами. При посещении Веймара на балу свидетелями этой дружбы императоров были даже величайшие представители немецкого литературного гения, Гете и Виланд.

На поле Иенского сражения, при участии немецких владетельных особ, торжественно чествовали виновника разгрома Германии. Наполеон и Александр непрерывно /46/ обменивались любезностями, подарками, интимными беседами в поздние ночные часы.

На представлении Эдипа» Вольтера, который разыгрывался лучшими силами французского театра, вызванными из Парижа с Тальма во главе, партер был наполнен королями и владетельными особами.

Когда дошло до стиха:

«Дружба великого человека — благодеяние богов» —

Александр встал, взял руку сидящего с ним рядом Наполеона и крепко пожал.

Этот жест лишний раз свидетельствует, как хорошо внук Екатерины унаследовал ее актерский талант.

Эта дружба и этот союз тянулись еще целых три года. На словах Александр дарил Наполеону целые чужие государства, Наполеон дарил Александру тоже чужие области и провинции, но подарки эти, в конце концов, свелись лишь к тому, что каждый из них сам по себе успел захватить, и, когда Александр нетерпеливо ждал обещанных ему частей Турции, а, главное, Константинополя с проливами или полного отречения Наполеона от восстановления Польши, он получил из Парижа великолепное художественное оружие и драгоценный севрский фарфор, а когда Наполеон ждал существенной помощи против Австрии и Англии, он получил из Петербурга драгоценные мраморы и малахиты.

Наряду с этим Александр, толкаемый экономическими интересами русского землевладения и русской промышленности, вынужден был несколько облегчить товарообмен с Англией и защитительными пошлинами несколько стеснить французский ввоз.

И уже в 1811 г. стало ясно, что взаимный обман дальше длиться не может, и друзья-союзники стали довольно откровенно готовиться к войне.

Надо признать, что Наполеон войны этой не желал. Ему достаточно было одних неудач в Испании, где борьба против французского вторжения приняла народный характер и своими успехами заметно подорвала военный престиж «непобедимого» полководца. /47/

8. 1812 год

Величаясь легенда 12-го года претерпела участь всех исторических легенд при свете «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет».

Когда экономическая борьба с мировым преобладанием английского капитала, английской торговли и промышленности, ни к чему не привела, возжелания европейской континентальной буржуазии, вождем которой стал Бонапарт, устремились на Россию.

Огромная страна с примитивными хозяйственными формами, с феодальными формами землевладения и крепостным земледельческим народом представляла и рынок, почти безграничной емкости, и неисчерпаемые запасы сырья.

И поднялось новое переселение народов, нашествие «двунадесяти язык».

Таков был ближайший результат всей дипломатической игры Александра и всей крови, пролитой русским народом, втянутым в военные авантюры на всех полях Европы, вплоть до альпийских снегов, в защиту всяких престолов и чужих отечеств.

Что же случилось, когда вражеские полчища нахлынули на русское отечество?

Вся наша знать, начиная с немецкой династии, воспитывалась на французском языке. И цари, и придворные, и вельможи со времени Екатерины даже между собой предпочитали говорить, худо ли, хорошо ли, по-французски. Правда, союз Александра с Наполеоном, Тильзит и Эрфурт вызывали у части высшего общества /48/ сильную оппозицию, во многих домах старой знати избегали общения с членами французского посольства и высшим центром этой оппозиции был блестящий двор императрицы-матери Марии Федоровны, но даже и там брюзжали и выражали недовольство на французском диалекте.

По доносам, которым сам Александр нисколько не верил, был отстранен и сослан в Пермь Сперанский, «правая рука» Александра, по собственному выражению царя, и единственная серьезная рабочая сила высшей бюрократии. Сослан был за «франкофильство».

Даже офранцузенная знать не оправдывала того злостного и язвительного обвинения, которое впоследствии Достоевский бросил русской интеллигенции в «Братьях Карамазовых» в сцене, где Смердяков рисуется перед молоденькой мещаночкой:

« — Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна, — говорит Смердяков.

— Когда-б вы были военным юнкерочком, или гусариком молоденьким, вы бы не так говорили, а саблю бы вынули и всю Россию стали бы защищать.

— Я не только не желаю быть военным гусариком, Марья Кондратьевна, но желаю напротив уничтожения всех солдат-с.

— А когда неприятель придет, кто же нас защищать будет?

— Да и не надо вовсе-с. В 12-м году было на Россию нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему и, хорошо кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с».

Слова эти, которые Достоевский с такой нарочитой злобой вложил в уста самого презренного из персонажей романа, очевидная клевета.

Не только в 12-м году, но и никогда позже такого настроения у русских людей не было.

Мы знаем, что и в наши дни убежденные интернационалисты сумели создать на развалинах царизма новую армию, которая при самых невероятных условиях с нечеловеческим напряжением отстояла Россию от новых /49/ нашествий. Мы знаем, что и язык, которым русские представители интернационала защищают и отстаивают интересы и достоинство России на всех конференциях и в международных сношениях, — не язык Смердякова, а такой язык, которым слишком редко умели, хотели и смели говорить казенные дипломаты царской России.

И «патриоты» в кавычках «стоят в недоумении, не зная в какую сторону им повернуться».

Что же было тогда?

В те времена, во времена Екатерины, Павла, Александра и позже русские мужики, обыкновенно голодные, плохо одетые и плохо обутые, дрались везде, куда водили их господа, одетые в генеральские мундиры. Дрались крепко, упорно, лезли на альпийские снега и терпели от воровства, бестолковости и бездарности своих командиров больше, чем от неприятелей. Дрались, мерзли, голодали и отдавали жизнь и здоровье, не понимая, зачем и для чего. Господа

приказывали, а мужики привыкли слушаться и исполнять всякую работу и всякое приказание.

Но в 12-м дело было и просто, и понятно.

На русскую землю, на русские деревни лезли какие-то чужие люди, жгли, грабили и убивали.

Конечно, их надо было перво-на-перво гнать в шею.

Правда, Наполеон распространил какие-то бумажки, в которых говорил об уничтожении крепостного права.

Но ведь Наполеон был не свой человек, не Разин, не Пугачев. Мужики-то и своим господам, которые заговаривали об уничтожении крепостного права, не доверяли, а тут какие-то чужие басурманы, которые пока что жгут и грабят, и прут на родную деревню, лезут в его собственную мужицкую избу, да притом какие-то турусы на колесах разводят.

Пусть генералы мудрят по-своему, на то они и господа, и командиры, и солдаты у них, а мужики делают свое.

Александр, в душе которого уже совершался тот внутренний перелом, который так ярко сказался во вторую половину его царствования, предоставил все «воле Божьей» и поплыл по течению. А течение было /50/ такое, что надо прежде всего из родной земли выгнать непрошенных гостей и донимать их всячески боем, измором, рогатиной, голодом и, пока не уберутся во свояси, не вступать ни в какие разговоры, а тем паче не мириться.

Александр не столько понял, сколько почувствовал это настроение, и с присущей ему театральностью выразил это в своих знаменитых словах:

«Скорее отращу себе бороду и буду питаться хлебом в недрах Сибири, чем подпишу позор моего отечества и добрых моих подданных». Эта декламация со словами о «добрых подданных» звучит, как перевод с французского.

Как ни путали генералы, интригуя, соперничая, подставляя друг другу ножки, как было под Березиной и в других местах, как ни воровали интенданты, но «мужички за себя постояли». Мужички в солдатских мундирах и с плохими казенными ружьями и мужички и даже бабы в лаптях и зипунах с косами и всяким дреколем.

А как вели себя другие?

Об этом имеются многочисленные свидетельства современников самых разнообразных в мемуарах того времени.

Знаменитый градоначальник, автор известных лубочных афиш-воззваний, натравивший толпу на растерзание Верещагина, граф Ф.В. Ростопчин, едва ли может быть причислен к принципиальным врагам дворянства. И вот, в отрывках из его мемуаров, напечатанных в «Русском Архиве», читаем:

«В минуту, когда губернский предводитель дворянства кончил свою речь, несколько голосов воскликнуло:

“Нет, не по четыре со ста, а по сту с тысячи, вооруженных и с продовольствием на три месяца”. Большинство собрания с громкими криками повторило эти слова. Государь благодарил в самых лестных выражениях».

«Теперь», — продолжает Ростопчин, — «надо уяснить поводы этой необыкновенной щедрости. Предложение губернского предводителя было справедливо и благоразумно; но два голоса, первые захотевшие дать больше, /51/ чем было предложено главою дворянства, принадлежали двум весьма различным лицам. Один был человек очень умный и предлагал меру, которая ему ничего не стоила: у него не было никакой собственности в Московской губернии. Другой, человек со здоровыми легкими, был подл, глуп и дурно принят при дворе. Он предлагал мне свой голос за честь быть приглашенному к императорскому обеду. И вот как можно увлечь собрания и как часто

они решают и действуют по одному увлечению и без размышления. Как часто человек превознесен до небес газетами и биографиями за действие или слово, хотя, быть может, он тотчас же раскаялся в своем поступке или в слове, им произнесенном».

Купцов, напротив, Ростопчин очень хвалит за патриотизм.

«В эту минуту русский человек», — говорит он, — «выражал свои чувства свободно; он забывал, что он раб, и возмущался при мысли, что ему угрожает иноземное иго».

Тут же приводится следующий любопытный эпизод, характеризующий Аракчеева.

Когда Ростопчин доложил царю, что предложено 32.000 ратников и 2.400.000 руб. денег, Александр выразил свою радость и с чувством обнял его.

«Когда я вышел», — рассказывает Ростопчин, — «Аракчеев поздравил меня с тем, что я получил величайший знак милости государевой; "ибо — прибавил он — я служу с самого его воцарения, и он ни разу меня не обнял". А Балашов сказал мне: "Будьте уверены, что граф никогда не забудет и никогда не простит вам этого объятия". В ту минуту я смеялся, но впоследствии я имел верные доказательства, что министр полиции был прав и что он лучше меня знал графа Аракчеева».

С.Н. Глинка в своих воспоминаниях, написанных в чрезвычайно восторженном патриотическом тоне, между прочим замечает:

«Восторги и порывы жителей московских откликались только в присутствии Александра первого. С отбытием его на берега Невы, в ночь на 19 июля, полет душ осекся: Москва смолкла. В Москве весть об опасности отечества вызвала мгновенный порыв самоотречения. /52/ Казалось, что все это было и не было. Начали около себя оглядываться, думать, обдумывать; личность заполонила самоотречение. Не было страха, не было трепета, но была суетливость жизни и о жизни...»

В записках князя С.Г. Волконского (впоследствии декабриста) читаем:

«...Вопль чиновников, которым препятствовал Винценгероде делать закупки по фабричным ценам, и таковой же вопль господ помещиков, которые, как тогда, так и теперь, и всегда будут это делать, кричат об их патриотизме, но из того, что может поступить в их кошелек, не дадут ни алтына, — этот вопль нашел приют и в Питере...»

А дальше о личном докладе у царя, к которому повез его Аракчеев, кн. Волконский пишет:

«Тут он (царь) сделал мне следующие вопросы: 1) Каков дух армии? — Я ему отвечал: "Государь. От главнокомандующего до всякого солдата все готовы положить свою жизнь к защите отечества и вашего императорского величества". 2) А дух народный? — На это я ему отвечал: "Государь, вы должны гордиться ими: каждый крестьянин — герой, преданный отечеству и вам". 3) А дворянство? — "Государь", — сказал я ему: — "стыжусь, что принадлежу к нему, — было много слов, а на деле ничего"...»

Как известно, однако, положение крестьян, так героически отстоявших родину, не только не улучшилось после Отечественной войны, но даже ухудшилось. Они остались такими же крепостными, но более разоренными, еще более нищими и еще более угнетаемыми и разорившимися, и не разорившимися помещиками.

По словам Бестужева, ратники, возвратясь в дома, говорили: «Мы проливали кровь, а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа».

После А.С. Грибоедова остался эскизный набросок плана задуманной им драмы о 1812 годе.

Героем драмы предполагался крепостной М.

В плане намечены, между прочим, такие сцены:

«Наполеон в тереме царей в Москве, в лунную ночь, пред окном. /53/

...Размышление о юном, первообразном сем народе, об особенностях его одежды, зданий, веры, нравов. Себе сам преданный, — что бы он мог произвести.

Село под Москвой. Сельская картина. Является М. Всеобщее ополчение без дворян. (Трусость служителей правительства — выставлена или нет, как случится).

Подвиги М.

Эпилог.

Вильна. Отличия, искательства: вся поэзия великих подвигов исчезает. М. в пренебрежении у военачальников. Отпускается во свояси с отеческими наставлениями к покорности и послушанию.

Село или развалины Москвы. Прежние мерзости.

М. возвращается под палку господина, который хочет ему обрить бороду. Отчаяние... Самоубийство».

Когда России пришла на помощь суровая зима 1812 г., исправив все ошибки генералов, и ни одного неприятельского воина не осталось на русской земле, благоразумным людям казалось, что война, которую без нужды накликал на Россию Александр своей неловкой и слишком хитрой дипломатической игрой, — кончена. Но не так думал Александр. Азарт игрока опять возгорелся в нем, война была перенесена за пределы России и солдаты разоренной страны опять должны были своею кровью платить за царственную игру, за чужие и чуждые им интересы... /54/

9. После «Отечественной войны»

«Борьба военных ошибок» — как называет участник похода адъютант Наполеона, гр. Де-Сегюр, войну 12-го года, — кончилась. Потому, ли что ошибок со стороны французов было больше, чем с нашей стороны, потому ли, что в чужой, далекой стране ошибки Наполеона были губительнее, победа осталась на стороне России...

Победоносная Россия еще больше обеднела, финансы пришли в еще большее расстройство, крепостное право осталось во всей своей незыблемости, крестьяне не имели ни организаций, ни вожаков, чтобы использовать плоды своих подвигов и трудов, и сотни тысяч из них, опять плохо одетые, плохо обутые, плохо кормленные, вынуждены были класть животы во славу ненужной ни им, ни России европейской высокой политики.

О том, как жилось тогда в победоносной армии солдату, имеются многочисленные свидетельства современников, очевидцев и участников.

Очень интересно освещают это записки полковника Карпова.

Полковник этот плохо справляется с русской грамотой, но от записок его веет непосредственностью и правдивостью умного и наблюдательного человека.

Говоря о трудных работах, которые приходилось солдатам проделывать в Кронштадте в 1807-8 гг., полковник замечает:

«Через вышесказанную работу народ чрезвычайно изнурился силами по трудности работ, недоставало положенного провианта на каждый месяц на 10 или на /55/ 8 дней продовольствия; исключая 2 четвериков муки и полутора гранца круп, ничего не производилось, приварок покупался из артельных солдатских денег, не более в треть года мог каждый солдат издерживать по 1 р. 50 коп. ассигн., дороговизна же была чрезвычайно дорога...»

«Доведенные вышеописанным содержанием до крайности и от трудности работ, возникли болезни, так что из 200 человек людей умирало в месяц в госпиталях по 7 и 8 человек...»

«При отправлении из г. Выборга, пройдя один переход, отправлено было назад в Выборг отморозивших в переходе руки и ноги, кои из них померли и некоторым отрезали ноги. Эта была

причина бережливости казны, потому что мы в том году не получали амуниции...»

«Все войска, бывшие в 1810 г. в Кронштадте, были подобны нищим, особенно пехотные солдаты, которые даже к нам в казармы приходили просить милостыни...»

1811 г.:

«...В ноябре месяце приезжал в местечко Мосты генерал Левештерн, осматривал роту и остался доволен всем, потому что его желудок остался сыт».

1814 г.:

«...За сие сражение (ферампенуазское) я получил от прусского короля крест пурлемерит, а от своего государя ничего...»

Бесполезную атаку, в которую государь бросился, после кампании чрезвычайно льстецы прославляли, но ни один из них не написал правды, а тем более притом же всех почти льстецов весьма щедро награждают, а за правду отсылают в Сибирь, в вечную работу, и другие места, где только можно притеснить человека, и гораздо строже поступают, нежели с преступниками государя. А так перед моими глазами было так. Государь, видя 2 карре неприятельской пехоты и 100 человек кирасиров, остановившихся на месте и колеблющихся, не зная, что им делать, приказал своему конвою из 100 черноморских и 100 гвардейских донских казаков, атаковать карре. Казаки бросились, и находившиеся /56/ при государе более сотни разных офицеров, смотря на казаков, также поскакали вперед, в числе офицеров и государь по правую сторону поскакал вперед, скача самым маленьким галопом почти на месте и осматриваясь назад, чтобы кто ни есть его удержал от сей чрезвычайной храбрости. В то же время один штаб-офицер, ехавший немного сзади его, удержал за руку, сказав:

“Государь, твоя жизнь дорога и нужна”. Государь поворотил скоро лошадь назад и скорее отъехал на прежнее место, нежели вперед подавал... Вот вся храбрость, которую так прославляют».

Впрочем, при другом случае, несколько позже Александр неожиданно проявил храбрость еще более сомнительную и еще более бессмысленную. Об этом рассказывает в своих записках декабрист И.Д. Якушкин.

Это было уже после возвращения из Парижа, при вступлении гвардейской дивизии в столицу.

«Для ознаменования этого великого дня», — рассказывает Якушкин, — «были выстроены на скорую руку у Петергофского въезда ворота и на них поставлены шесть алебастровых лошадей, знаменующих шесть гвардейских полков нашей дивизии. Толстой и я, мы стояли недалеко от золотой кареты, в которой сидела императрица Мария Федоровна с великой княжной Анной Павловной. Наконец, показался император, предводительствующий гвардейской дивизией, на славном рыжем коне, с обнаженной шпагой, которую он уже готов был опустить перед императрицей. Мы им любовались; но в самую ту минуту почти перед его лошадью перебежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя...»

Очевидно, наследие Павла временами сказывалось в характере Александра...

Но эта роковая наследственность имела гораздо более глубокое и серьезное значение. Эта нелепая и неприличная погоня за мужиком была только мелким внешним симптомом того серьезного душевного расстройства, /57/ которое начало все ярче обнаруживаться у Александра после 12-го года.

Нагло жадничал прусский король, подло интриговал злой гений Австрии — Меттерних, хитрил профессиональный предатель Талейран, твердо и надменно отстаивал эгоистические интересы Англии Касльри.

О конгрессе в Шантильоне, происходившем при все еще продолжавшихся военных действиях, вел. кн. Николай Михайлович говорит: «То был раздел добычи между коршунами, пока жертва еще пребывала в предсмертных судорогах». Союзники, может быть, перегрызлись бы между собою.

Никак не могли сговориться о заместителе Наполеона.

Александр, глубоко презирал Бурбонов вообще и претендента на французский престол, брата казненного короля в особенности. Он настаивал, чтобы решение этого вопроса было предоставлено самим французам, у союзников же его были свои кандидаты, с которыми связывались разные интересы и вождедения.

В конце концов союзный акт между Россией, Австрией, Пруссией и Англией был подписан, и 19 (31) марта 1814 г. совершился знаменитый въезд Александра во главе союзников в Париж.

В Париже Талейран сумел так подстроить дело, что Александр поселился у него в доме.

Личная встреча Александра с Людовиком XVIII, милостью союзников объявленным королем Франции, еще усилила его презрение к нему.

Вернувшиеся в обозе союзников, эмигранты поспешили доказать всему миру, что они были более чем достойны той участи, которую готовила для них революция...

Через год, когда союзники собрались в Вене, они вновь готовы были перегрызться друг с другом, но внезапное бегство Наполеона с острова Эльбы, который был предоставлен ему по настояниям Александра, предотвратило распрю.

На Венском конгрессе первым лицом, естественно, был русский император, но ворочал всем Меттерних. Воля Александра проявлялась и здесь во всей своей силе. /58/

Михайловский-Данилевский, флигель-адъютант Александра, состоявший при нем в его свите в Вене, в своем дневнике за 1815 г. отмечает:

«Император употреблял теперь генералов и дипломатов не как своих советников, но как исполнителей своей воли; они его боятся, как слуги своего господина».

Блистая на постоянных балах и празднествах, он сам был, в сущности, своим министром иностранных дел и твердо вел свою дипломатическую игру. Помощниками Александра были русские уполномоченные, между которыми русским был, впрочем, один только Разумовский, остальные были три немца (Нессельроде, Штакельберг и Анстет), корсиканец (Поццо-ди-Борго), грек (Каподистрия), неофициально поляк (Адам Чарторийский).

Эти «русские» уполномоченные далеко не были единодушны и вели свои интриги. И Александр же находил время на общение с входившей тогда в моду религиозной проповедницей баронессой Крюденер.

Эта авантюристка на религиозной почве имела несомненное влияние на Александра, но не потому, что будто бы ей удалось подчинить себе его волю, а потому, что она своим мистицизмом, частью искренним, частью ловко рассчитанным, попала в тон новому настроению, которое овладело им под влиянием 1812 года... /59/

10. Трагедия царизма

«Не нашим умом, а Божьим судом», — сказал Каратаев, этот удивительный мужик, у которого все выходило так кругло и так ладно спорилось».

Так, по догадке великого художника, воспринял события 1812 г. типичный русский крестьянин. Так же воспринял эти события и русский царь.

В душе крестьянина, который естественно, чувствует себя не субъектом творимой истории, а ее объектом, такое чувство вполне естественно. Но в душе монарха, в душе самодержавного властелина, который всем своим антуражем, всей психикой, и своей, и окружающих его, непрестанно утверждает в представлении, что он является творцом истории, что он отликает историю своего времени в задуманные им формы, такое чувство, если оно им властно овладело,

неизбежно должно произвести в душе определенный перелом.

«Не нашим умом, а Божьим судом» — эта истина, которая в устах Каратаева так поразила барина Пьера Безухова, который ни на какую активную роль в творящейся истории и не претендовал, совершила крутой перелом в душе царя, который по положению казался видимым центром событий.

И дальше, в Европе, это чувство совершенного бессилия всех дипломатических ухищрений еще более утвердило Александра в ощущении какой-то высшей силы, направляющей дела людские и устрояющей судьбы царств и народов.

Но как проявляется вмешательство провидения в дела людские, в историю царств и народов? Очевидно, /60/ только через тех людей, которых провидение избрало для этого и дало им власть на земле. И Александр стал смотреть на себя, как на орудие божьей воли, тем более, что это не только не противоречило той идее о самодержавной власти, которая так глубоко коренилась во всей наследственной психике Александра, но даже сливалась с этой идеей, давая ей высшую санкцию.

«Я вполне отдаюсь его предрешениям и он один всем руководит, так что я следую только его путями, ведущими к завершению общего блага», — так писал Александр в одном из писем своих князю Голицыну.

Голицын, этот светский молодой человек, весьма беспутного образа жизни, неожиданно для себя попавший 30 лет от роду по воле Александра в обер-прокуроры святейшего синода и затем, в качестве министра духовных дел, заправлявший всеми делами церкви, очень скоро не только втянулся в работу, но и, отдавшись ей всей душой, совершенно преобразился. Равнодушный в молодости к религии, он на своем новом посту глубоко проникся религиозным духом и религиозными интересами.

Как-то в начале 1812 г. Голицын спросил Александра, читал ли он библию. Александр, относившийся тогда к религии довольно формально, признался, что не читал.

Голицын поднес царю экземпляр библии, советуя читать, начиная с нового завета.

Летом того же 1812 г. Александр, отправляясь в Финляндию на свидание со шведским королем Бернадотом, стал во время долгих переездов в экипаже читать священное писание.

Чтение библии продолжалось и во время второго путешествия Александра в Вильну, и настолько вошло в привычку, что Александр прочел всю библию, в том числе и апокалипсис, и ветхий завет, и потом стал ежедневно прочитывать по одной главе из евангелия и по одному из апостольских посланий.

Об этом подробно рассказывает в своем исследовании вел. кн. Николай Михайлович. /61/

Это увлечение Александра библией заметно в стиле и тоне почти всех манифестов и воззваний 1812 г.

Еще раньше состоялось сближение Голицына и Александра с известным мистиком Р.А. Кошелевым. На Голицына же и Кошелева очень сильное влияние имел известный мистик масон Лабзин, переводчик мистических сочинений, издатель «Сионского Вестника».

В 1814 г., при посещении Англии, где, между прочим, под влиянием взбалмошной сестры своей Екатерины, Александр держал себя так, что уничтожил возможность соглашения с английским правительством, он познакомился с видными квакерами и много беседовал с ними; проездом в Голландию познакомился с известным мистиком Юнг-Штиллингом, в Гейлаборне встретился с баронессой Крюденер.

Таким образом, идея «священного союза» выросла в душе Александра на вполне подготовленной

почве.

На этой же почве выросла и другая идея — идея военных поселений.

Много было условий, почему Александр с таким упорством и такой непреклонностью отдался этой идее и попутно отдал во власть неукоснительному и беспощадному исполнителю этой идеи Аракчееву всю Россию.

Русский царь совершенно не знал ни России, ни народа русского, и не узнал их до конца своих дней.

Он отстаивал конституции для Франции, он дал конституцию Финляндии и Польше. Наконец, он освободил от крепостной зависимости эстонских крестьян. Правда, освободил скверно, без земли, но все же сделал для них то, чего он никак не мог решиться сделать для русских крестьян.

Когда же дело касалось России, Александр терялся.

Русскому дворянству он не доверял и презирал его, что засвидетельствовано историческими фактами.

Это был единственный класс, который он знал ближе и мог судить о нем.

Среднего сословия Александр не знал, да оно само еще не успело самоопределиться в России. Крестьянство он знал только настолько, насколько царь мог /61/ знать солдат. Он видел в нем пушечное мясо, над которым свободно орудовала палка опрусаченного капрала.

Можно ли освободить крестьян и как это произвести в России, он решительно не знал, и он решил «облагодетельствовать» народ тем единственным путем, который был ему более всего знаком.

Сын Павла видел народ через призму любимой им и близкой ему солдатчины. Отсюда идея военных поселений. Идея эта, хотя и внушенная некоторыми иноземными примерами, выношена самим Александром. Аракчеев вначале был против военных поселений. Но Аракчеев никогда не имел своей инициативы и не смел иметь своих суждений. Это был идеальный исполнитель державной воли монаршей. И здесь опять сказалась вся непреклонность воли Александра.

Раз уверовав в спасительность военных поселений, он осуществил эту идею с такой неукоснительностью, какой немного примеров в истории нашего царизма.

Другого такого исполнителя, беспрекословного и ни над чем не задумывающегося, как Аракчеев, не было, и нет ничего удивительного в том, что Александр вполне ему доверился. Аракчеева страшно ненавидели — и было за что, — но Александр отлично знал, что более преданного слуги у него нет. При изумительной работоспособности он был нерассуждающим, слепым, неукоснительным, верным и без оглядки усердным исполнителем царской воли, и эту волю он исполнял с неумолимой жестокостью религиозного фанатика. Исполнительность была верой, религией этого железного человека, этого маниака усердия, опасного своей узостью и ни перед чем не останавливающейся прямолинейностью.

Когда читаешь письма Александра времен Венского конгресса, ясно чувствуешь, что их пишет душевнобольной, человек, одержимый религиозным помешательством. Цитаты из апокалипсиса, из евангелия, из посланий апостольских, библейские имена так и пестрят на каждой странице. Даже в официальных документах того времени, вышедших из-под пера Александра или им продиктованных и внушенных, часто /63/ прорывается этот религиозный бред. В это-то время и возникла у него идея об облагодетельствовании русского народа военными поселениями. Намерения были самые благочестивые. Теперь уже вполне выяснено, что идею военных поселений совершенно напрасно приписывали Аракчееву. В эту ошибку впал, между прочим, и Щедрин, который в своей «Истории одного города» изображает Александра под именем Грустилова и Аракчеева в лице Угрюм-Бурчеева.

Изображая внешность Угрюм-Бурчеева, Щедрин говорит:

«Портрет этот производит впечатление очень тяжелое. Пред глазами зрителя восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение. Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они неизменно злы (в идиоте злость или доброта — совершенно безразличное качество), а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним. Издали может показаться, что это люди хотя и суровых, но крепко сложившихся убеждений, которые сознательно стремятся к твердо намеченной цели. Однако это оптический обман, которым отнюдь не следует увлекаться».

И дальше:

«Если бы вследствие усиленной идиотской деятельности даже весь мир обратился бы в пустыню, то и этот результат не устрасил бы идиота. Кто знает, быть может, пустыня и представляет в его глазах именно ту обстановку, которая изображает собою идеал человеческого общежития.

Вот это-то утвержденное и вполне успокоившееся в самом себе идиотство и поражает зрителя в портрете Угрюм-Бурчеева. На лице его не видно никаких вопросов; напротив того, во всех чертах выступает какая-то солдатскиневозмутимая уверенность, что все вопросы давно уже решены».

Старое доверие к Аракчееву, возникшее еще в те годы, когда он заслонял от помешанного на воинских пустяках грозного отца юного Александра, /64/ в позднейшие годы тихого и неизлечимого религиозного помешательства Александра приняло патологические размеры.

Чем были военные поселения и как осуществлялся этот кантонистский бред — слишком известно. Тяжелое наследие сумасшедшего отца сказалось и в других случаях Александровского царствования. Например, в усмирении любимого Александром Семеновского полка, которому в командиры был дан «идиот», достойный Аракчеевской эпохи, Шварц.

Сказалось это и в университетских неистовствах Магницкого и Рунича, и в закрытии Библейского общества, в увольнении Голицына стараниями Аракчеева и, Фотия и, наконец, в увлечении Александра этим темным изувером Фотием.

Были у Александра светлые промежутки. Он вернул Сперанского и поручил ему опять мудрить над конституцией. Но из этого опять ничего не вышло, и конституционность Александра так и осталась средством для наружного употребления, а эти средства, как известно, внутрь обычно не принимаются.

Душевная болезнь Александра не принимала такого острого течения, как у его отца, но венценосец все же не находил себе ни места, ни успокоения.

Трагедия Александра не была только его личной трагедией. Это трагедия царизма. Человек, достигший величайшей мировой славы и могущества, неограниченный властелин, повелевавший миллионами, единственный монарх в Европе, обладавший, казалось бы, полной возможностью осуществлять свои намерения, царь, которого не стесняли ни парламенты, ни палаты лордов или господ, не связанный никакими конституциями, на вершине славы и могущества — чувствует свое полнейшее бессилие и роковую бесплодность всех своих начинаний.

Он может причинять зло, и много зла, но это все, что он может. А зло может причинить и самый ничтожный предмет в природе. Но в деле добра он совершенно бессилен, и это в лучшем случае, часто же задуманное добро превращается в зло. /65/

В лице Александра I русский царизм с трагической наглядностью обнаружил свое творческое бессилие.

«Слова и иллюзии гибнут — факты остаются». Остались и оставили надолго неизгладимый след в русской истории факты: Магницкий и Рунич, Фотий и Аракчеев. И была историческая последовательность в том, что после Александра аракчеевщина, обагренная кровью 14-го декабря, была увенчана императорской короной и на тридцать долгих лет воссела на

всероссийский престол под именем николаевщины.

После отцеубийцы, престол занял младший внук царственной мужеубийцы, Николай, начавший как палач, и кончивший, как банкрот. /66/

Примечания

1. Фонвизин в своих записках отмечает, что восторг по поводу событий 1801 года изъявило только дворянство, между тем как прочие сословия приняли весть о кончине Павла довольно равнодушно.

Николай I

1. «Победитель»

После трехнедельного междуцарствия и восстания декабристов, на прародительском российском престоле воссел младший брат Александра, Николай Павлович. Ему было 29 лет. Стройный, статный красавец, с правильными чертами энергичного лица, со строгим выражением серо-стальных глаз, он казался живым олицетворением власти и силы. Его суровые уста не знали чарующей улыбки Александра; непреклонной повелительностью звучал его резкий металлический голос. Ничего похожего на расплывчивость Александра, на гибкость его многогранной души.

Его изображали европейским жандармом, его называли бесстрашным рыцарем абсолютизма, паладином самодовлеющей реакции.

Такова сложившаяся о нем легенда, таков он в изображении историков, публицистов, художников.

Иные преклонялись перед ним, другие ненавидели; его беспощадно бичевал Герцен, его удостоил своей ненависти Лев Толстой, увековечив за ним название «Николая-Палкина».

И за этим внешним обликом силы, могущества, себе довлеющего и в себе уверенного, за этой грозной фигурой, наводившей страх и трепет, проглядели основное свойство психики Николая, главный двигатель всей его биографии и всей им творимой истории.

Не заметили, что за видимостью этой грозной силы скрывалась неизлечимая трусость. /69/

Не заметили, что этот фантом, перед которым непрерывно в течение тридцати лет трепетала Россия, а порой и Европа, сам процарствовал все эти тридцать лет в страхе и трепете, в паническом ужасе, от которого он никогда и ни в чем не находил прочного успокоения.

Николай боялся всего. Он трепетал перед страшным для него и непонятным ему «духом времени». Он боялся всякого движения идей, он дрожал перед железной поступью неотвратимого исторического процесса, он боялся полупридушенной им России, он заигрывал с дворянством, потому что боялся его и не доверял ему, он трепетал перед грозной стихией закрепощенного крестьянства, он боялся науки, боялся литературы. Он даже старался осмыслить свой страх, изучая записки декабристов.

Уже обезоружив декабристов и заперев их в надежные казематы Петропавловской крепости, он все еще трепетал перед ними. Он не осмелился открыто судить их, он принимал прямое участие в допросах, причем он то льстил им, то угрожал, а больше всего обманывал их своим притворством, исполняя одновременно роли инквизитора, провокатора, шпиона и палача.

Как все трусы, он был жесток, но и в жестокости своей часто проявлял ту же трусость, скрывая ее под отвратительным лицемерием.

Когда как-то доложили ему, что пойманы два еврея, вопреки запрещению перешедшие

карантинную границу, и предлагали казнить их, Николай ответил:

— Смертная казнь у нас отменена и не мне вводить ее вновь. Прогнать их 12 раз через строй в тысячу человек.

Император-палач, как и окружавшие его, отлично знали, что и четвертой части такого истязания не может выдержать человек.

Трусость Николая I не была физиологической трусостью. Правда, в детстве он страдал и такой трусостью. Он совершенно не выносил звука выстрелов, даже ружейных, и, заслышав пальбу, в ужасе забивался в какой-нибудь дальний угол. Он не выносил даже вида пушек, и когда ему в лагере приходилось /70/ проходить мимо пушечных жерл, он делал большой крюк, чтобы их обойти. Наводили на него ужас и гром, и молния, и даже фейерверк.

Но этот вид трусости он с годами одолел.

И на Сенатской площади в день 14 декабря, и в особенности на Сенной площади, во время народных волнений, вызванных холерой, Николай был бесстрашен.

На Сенатской площади, впрочем, «победа» была обеспечена. Против горсти декабристов, которые сами нимало не верили в успех восстания, не имели ни определенного плана, ни авторитетного и умелого предводителя, двинуто было целое войско.

Декабристы шли героически умирать. Но их уменье далеко отставало от их благородства и отваги. Они представляли замечательный отбор лучших людей тогдашнего русского общества, это был самый роскошный цвет русской дворянской культуры. И солдаты, шедшие за ними, инстинктивно чувствовали это. Находясь с пяти часов утра на ногах, терпеливо выстояв в течение семи часов зимнего холодного дня на площади, они сохранили свою стойкость до конца, хотя у них не было ни артиллерии, ни толковой команды, ни надежды устоять против огромных сил всего петербургского гарнизона.

Легенда о замечательном героизме Николая, будто бы проявленном им в этот день, теперь сильно потускнела.

Историк Г. Василич в своем исследовании «Восшествие на престол императора Николая I», на основании анализа фактов и записок самого Николая, приходит к следующему заключению:

«Так падает легенда о беззаветной храбрости Николая, которую он якобы проявил 14 декабря, тогда как все время был окружен огромной свитой и охраной. Но всю преувеличенность опасности мы еще яснее увидим, когда подробно узнаем силы мятежников, их намерения и действия на Сенатской площади».

Еще при жизни Александра I, Николай знал, что престол после смерти или отречения брата предназначен ему, а не Константину, знал со слов самого Александра, который открыто высказал это в семейном /71/ кругу летом 1819 г., а сам Николай рассказывает об этом в своих записках, в которых он между прочим сознается и в своей совершенной неподготовленности. До 1818 года, т.е. до 22летнего возраста, Николай получал, по собственному его признанию, главное и единственное свое государственное образование «в передних», где в ожидании царского приема с 10 часов утра толпились генералы и другие знатные лица, имевшие доступ к царю, и делились придворными сплетнями.

Всем же занятиям вообще Николай предпочитал военное дело, которое тогда сводилось главным образом к мелочам и пустякам, к ремешкам, выпушкам и кантам, к выправке и муштровке. Царица-мать, при всей ограниченности своей, всегда возмущалась этим увлечением «пустяками» и указывала на это и самому Николаю, и его воспитателям и приближенным. Но при всей своей энергии Марии Федоровне так и не удалось побороть этой, даже по ее мнению, пагубной страсти ее сына к военным пустякам.

В начале 1822 г. отречение Константина от своих прав на русский престол было оформлено и акт об этом в четырех экземплярах был в запечатанных пакетах сдан на хранение в ризницу

Успенского собора в Москве и в три высшие государственные учреждения в Петербурге.

Константин Павлович к тому же женился на женщине, никогда не принадлежавшей ни к какому владетельному дому, и притом польке и католичке. Этим он, и помимо своего собственного отречения, лишил себя права на русский престол.

Акта отречения Константина Александр не скрыл и от Вильгельма Прусского.

Не знал об этом акте только тот, которого это ближе всего касалось — русский народ.

Передача России от одного царя к другому рассматривалась, как дело совершенно семейное, и настолько интимное, что даже в царской семье не все об этом знали. Официально не был уведомлен об этом и сам Николай.

И вот, когда неожиданно, в далеком Таганроге, умер Александр, все растерялись и началась невероятная /72/ путаница с семнадцатидневным междуцарствием, бесцарствием или двоецарствием.

Николай, который ужасно любил разыгрывать рыцаря, ни за что не хотел вступить на престол, пока Константин всенародно и торжественно не отречется. Константин, хотя, по-видимому, совершенно искренне не соблазнялся престолом, на котором были убиты его дед и отец, почему-то уклонился от публичного отречения и наотрез отказался приехать для этого в Петербург, считая совершенно достаточным тот письменный акт отречения, который хранился в заветных местах в запечатанных пакетах с надписью Александра: «В случае моей смерти вскрыть раньше всякого другого дела».

Николай, подчеркивая свою лояльность, поспешил присягнуть Константину и к тому же понуждал других. Сенат и Государственный Совет раболепствовали. При этих семейных пререканиях Россию совершенно забыли, армия и народ недоумевали, члены тайных обществ впопыхах решили использовать эту неурядицу, чтобы разделаться с самодержавием, которое само себя так компрометтировало, тем более, что Николая вообще не любили.

Впрочем, был один уголок и у Николая, где он проявлял и сердечность, и добродушие. Это — его семья.

Здесь непреклонный самодержец и строгий командир всероссийского дисциплинарного батальона позволял себе являться просто человеком.

Эти обыкновенные человеческие черты в глазах многих приобретали преувеличенное значение только потому, что выделялись очень резким контрастом в общем облике надменности, величайшего самомнения и беспощадной неукоснительности. /73/

2. Самодержавная трусость

Вскоре после своего кровавого воцарения Николай расстался со многими типичными деятелями последнего периода царствования Александра.

Ушли профессиональные гасители просвещения, знаменитые Магницкий и Рунич, отставлен Аракчеев, потерял всякое значение мрачный изувер Фотий.

Таков уж установившийся порядок, что новый царь почти никогда не уживается со слугами своего предшественника.

Притом, некоторые из деятелей предыдущего царствования просто не подходили к требованиям нового царя.

Фотий своею истеричностью и самодовлеющим изуверством как-то выходил из ранжира, а Николай этого не выносил, это нарушало его представления о порядке, о прямой линии.

Аракчеев своею слепую и беспощадною исполнительностью, казалось бы, должен был вполне подходить к идеалу Николая. Но Аракчеев забрал слишком большую власть при Александре. Притом Александру он был нужен потому, что Аракчеев дополнял его: он обладал той прямолинейностью и жестокостью, которых не было в слишком гибкой и расплывчатой душе Александра.

Николаю такого дополнения не нужно было. Он был фронтовиком и Аракчеевым больше самого Аракчеева, и вообще не терпел никакой конкуренции.

Николай не говорил: «государство — это я», ему этого не нужно было говорить, потому что это разумелось /74/ само собою. Идея военных поселений, задуманная Александром как одно из средств «благодетельствования» его «добрых подданных» и осуществленная Аракчеевым с беспощадностью маниака, Николаю представлялась слишком узкой, слишком частичной. Для Николая вся Россия была одним военным поселением.

Гвардейские казармы, которые в течение целого столетия, от смерти Петра и до 14 декабря 1825 года, с избытком заменяли былые земские соборы, распоряжаясь русским престолом, при Николае призваны были под его непосредственным командованием продолжать свою функцию устройства русской земли на основах самодержавия, православия и народности.

Николай неуклонно проводил милитаризацию всего гражданского управления.

Правда, результат получился несколько неожиданный для Николая. Пока он усиленно проводил милитаризацию бюрократии, произошла бюрократизация военного управления.

Пока гусары проявляли свою энциклопедичность во всех областях управления — от синода и просвещения до финансов и родовспомогательных заведений («прикажут — буду акушером») чиновники опутали бумажной сетью все отрасли военного дела и в конце концов сам Николай должен был признать, что Россией правит не он и не излюбленные им «бравые кавалеристы», а «сорок тысяч столоначальников».

Но разочарование это пришло не сразу. Вначале Николай воображал, что ему удастся не распылывать своего самодержавия, а всем править самому. Он был так ревнив к своей власти, что не желал делить ее даже с высшими органами государственного управления.

Николай формально не упразднил этих учреждений, ни Государственного Совета, ни Сената, ни министерств. Он просто с ними не считался. Все управление он пытался перенести в свою собственную канцелярию. Отделения этой канцелярии поэтому страшно раздулись, а он все прибавлял новые отделения. В одном отделении была сосредоточена вся законодательная деятельность. Новое придуманное Николаем отделение, /75/ знаменитое 3-е, должно было вести все дело государственной полиции, борьбу с революцией и вообще всякими проявлениями общественности, и собственно не имело никаких определенных границ своего ведения. Вновь учрежденный корпус жандармов, конечно, милитаризованный, должен был за всем следить, всех контролировать, во все вмешиваться, карать, миловать, преследовать, защищать, пресекать, благодетельствовать и проч., и проч.

Все же важные мероприятия государственного значения, «реформы», преобразования и проч. тоже были изъяты из ведения существовавших государственных учреждений и ведались бесчисленными «секретными комитетами» под председательством самого Николая. Это было продолжение в николаевском духе знаменитого «негласного комитета» первых лет царствования Александра.

Таким образом, все дело государственного строительства вынесено было за пределы существовавших учреждений, а министерства не могли проявлять никакой творческой работы, и могли заниматься только текущими пустяками, превратившись в Диккенсовские «министерства обиняков».

Все эти секретные комитеты вырабатывали «реформы», так как даже Николай догадывался, что застыть в неподвижности или топтаться на одном месте такая большая страна, как Россия, не может. Но всю эту работу считал он необходимым держать в секрете, во-первых, чтобы не

возбуждать преждевременных преувеличенных ожиданий, во-вторых, чтобы все было сделано так, как будто бы ничего не изменилось, чтобы не было заметно, что страна дышит. К стране предъявлялось такое же требование, как к солдатам во фронте. Конечно, Николай не был так глуп, чтобы не понимать, что и солдат во фронте, как бы он бессмысленно ни пучил глаза на начальство, изображая форменного истукана, все же дышит, понимал, что и страна, выстроенная им во фронт, тоже дышит, и что даже в секретных комитетах неизбежно какое-то дыхание.

Но дорога была иллюзия застывшей неподвижности, /76/ и этот бред перепуганного самодержавия усиленно культивировался.

Николай понимал также, что крепостное право — анахронизм, и очень опасный.

Чуть ли не десяток негласных комитетов, один за другим разновременно старались не об улучшении положения крестьян, а об умалении помещичьего самодержавия во славу чистоты и цельности самодержавия царского.

В 1840 году, когда министр государственных имуществ П.Д. Киселев составил записку, в которой доказывал, что важные государственные выгоды для народной промышленности и самого общественного спокойствия требуют уничтожения крепостного состояния, собрался особый комитет.

Дело велось чрезвычайно секретно, крепостники мобилизовали все свои силы, чтобы отвратить от России такой ужас, и когда вопрос должен был, наконец, рассматриваться в Государственном Совете, стало известно, опять-таки по секрету, что на собрание приедет Николай.

Царь действительно приехал и произнес речь.

Скромный проект Киселева был, конечно, отвергнут, и по предложению Николая дело должно было свестись только к «улучшению» старого александровского закона 1803 г. о свободных хлебопашцах, само же «улучшение» заключалось в устранении «вредного начала» этого закона — отчуждения от помещиков (заметим — только по их собственной воле) поземельной собственности, «которую», — сказал Николай, — «столько по всему желательнее видеть навсегда неприкосновенною в руках дворянства — мысль, от которой я никогда не отступлю».

Проект нового разъяснения закона о свободных хлебопашцах уже тем был хорош, по мнению Николая, что «без всякого даже вида нововведения дает каждому благонамеренному владельцу способы улучшить положение его крестьян».

Николай в начале своей речи отметил:

«Нет сомнения, что крепостное право, в нынешнем его положении у нас, есть зло, для всех ощутительное /77/ и очевидное, но прикасаться к нему теперь было бы делом еще более гибельным».

Эта мысль, впрочем, была гораздо ярче выражена известным идеологом реакции и апологетом абсолютной монархии де-Местром, вдохновлявшим некоторых реакционеров александровского царствования.

Определяя французскую революцию, де-Местр говорит:

«Это была великая и страшная проповедь божественного провидения к людям. Проповедь эта имела два пункта. Первый: революция происходит только от злоупотребления правительства. Это — по адресу государей. Второй пункт: но злоупотребления все-таки лучше революции. Это — по адресу народов».

Все же, даже при издании такого указа, который лишал крестьян возможности приобретения надела в собственность, даже по добровольному соглашению с ними помещика, Николай считал необходимым успокоить помещиков особыми разъяснительными циркулярами губернаторам.

Николай обладал железной волей и огромной самоуверенностью, но вечный страх был сильнее и

его воли, и его самомнения.

Николай боялся и дворянства, и крестьянства.

Когда во время прений по поводу изменения или «разъяснения» александровского закона о свободных хлебопашцах, Д.В. Голицын доказывал, что договоры, завися всецело от воли помещика, едва ли будут заключаемы, и предложил ограничить власть помещиков введением инвентарей, Николай возразил:

«Я, конечно, самодержавный и самовластный, но на такую меру никогда не решусь, как не решусь и на то, чтобы приказать помещикам заключать договоры».

С другой стороны, Николай понимал, что основой всего его могущества все же является крестьянство, дающее государству и средства, и военную силу. Натуральное хозяйство давно отжило свой век, денежное не могло развиваться на крепостном труде. А денег нужно было много и на бесчисленное чиновничество, и, главное, на содержание войска, и на все войны /78/ усмирения и военные затеи, которые были ближе всего и дороже всего сердцу Николая.

Крепостной народ был, конечно, беден и с необычайным разорительным напряжением мог оплачивать великодержавное могущество России. Даже рекруты, которых поставлял истощенный народ, давали огромный процент слабых, заморенных людей, что царю, страстному любителю солдатчины, было очень хорошо известно.

В лице декабристов он уничтожил целый слой лучших русских людей, и этой своей «победой» он морально и умственно обездолил и дворянство, и себя, и современную ему Россию.

Той же России, которая вопреки всему и, прежде всего, вопреки ему и его системе, в это время народилась, России, которая выставила Пушкина и Гоголя, Лермонтова и Шевченко, Достоевского и Тургенева, Герцена, Грановского и Белинского, этой России Николай не знал и не понимал, а когда он наталкивался на представителей этой враждебной ему стихии, он расправлялся с нею по-военному. Пушкин был отдан на съедение жандарму Бенкендорфу, Шевченко и Полежаев сданы в солдаты с воспрещением писать, Тургенев посажен на съезжую за письмо о смерти Гоголя и т.п.

На всю Россию Николай смотрел сквозь призму солдатчины. Вся страна представлялась ему обширнейшей в мире казармой, в которой он сам был строгим, но рачительным отцом-командиром.

Он сам говорил, что военные упражнения, парады и проч. — величайшая радость и наслаждение его жизни. И это с раннего детства. Его мать даже пыталась бороться с этим пристрастием, но все условия воспитания питали и поддерживали эту страсть.

С трехлетнего возраста его стали облачать в военные мундиры, хотя он тогда еще панически боялся стрельбы, боялся даже ступить на маленький фрегат, стоявший в Павловске.

Относительно военных мундиров, в которые рядили его с пяти и шести-летнего возраста, имеются любопытные /79/ свидетельства в дворцовых приходорасходных книгах того времени.

В книге за 1802 год показано, что великому князю Николаю Павловичу сшито, кроме прочего платья, 16 измайловских мундиров, взято 36 звезд ордена св. Андрея Первозванного, и куплено от купцов 113 аршин лент того же ордена.

В следующем, 1803 году сшито опять 16 измайловских мундиров, 10 шкиперских, 37 пар разного платья и 11 фраков (кроме сюртуков и проч. — это все для семилетнего карапуза). Андреевских звезд заготовлено было 72, анненской ленты куплено было 15 аршин. В 1804 году сделано 12 измайловских мундиров, 29 фраков и проч. Андреевских звезд опять 72. В 1805 году — 11 измайловских мундиров, 30 фраков, 72 андреевских звезды, куплено 47 аршин андреевской ленты и 36 аршин александровской и т.д.

Между тем ребенок в обычное время носил обыкновенную детскую одежду. Все это дает яркое

представление о дворцовом хозяйстве.

Мундиров, фраков, шелковых и бархатных костюмов, звезд и лент было столько, что можно было одеть и разукрасить целый воспитательный дом. Нянь и дядек, бонн и гувернеров, воспитателей и воспитательниц тоже был чуть ли не целый полк, но и клопов в спальне маленьких великих князей было немало. И в дворцовых расходных ведомостях, наряду со звездами и лентами, фигурируют расходы на снадобья для истребления клопов, и эти расходы так же повторяются, как и расходы на орденские звезды для малышей.

О воспитательной системе можно судить по тому, что розги употреблялись часто, а воспитатель граф Ламсдорф не только бил детей Николая и Михаила линейками и ружейными шомполами, но, впадая в ярость, хватал маленького Николая за грудь или за воротник и ударял его об стену так, что тот почти лишался чувств.

И, ставши императором, Николай старался всю Россию втиснуть в мундир и учить уму-разуму из-под /80/ палки, и больше всего дорожил в людях военной выправкой.

Точно те прусские офицеры, о которых Гейне сказал:

Они в выправке рьяной
Так подтянуты прямо,
Как будто те палки они проглотили,
Которыми их так усердно лупили. /81/

3. Испуганное пугало

Стихийное стремление Московской Руси к самоопределению себя как государства европейского, стремление, осознанное еще до Петра многими русскими людьми, вызвало, между прочим, и создание постоянной армии по европейскому образцу. Для европейской России были созданы даже две армии: военный регламент создал армию для внешнего употребления, армию пороха и железа, а табель о рангах создала армию для внутреннего употребления, армию чернил и бумаги.

Ни в одном сочинении по истории, общей ли или истории культуры, ни в одном хронологическом указателе, перечисляющем открытия и изобретения человеческого гения, вы не найдете самого изумительного, самого чудесного и чуть ли не самого древнего из этих достижений человеческого ума. Ни в одном из исторических сочинений вы не найдете прямого указания на то, что одним из самых замечательных, самых чудесных изобретений — является казарма, солдатчина.

Ни одна воспитательная система, ни одна школа, не исключая таких замечательных, как школы иезуитского ордена, никогда не достигали такого умелого, такого систематического, прочного и в своем роде совершенного и целесообразного нарочитого перерождения человека.

Взять рабочего человека, оторвать его от земли, от семьи, от всех навыков быта, даже от привычной ему одежды, в корне изменить его психику и превратить его в послушную, слепую, автоматическую машину /82/ для убийства, сделать из него покорное орудие порабощения таких же, как он, рабочих людей — задача, которая могла показаться какой-то скверной утопией, дьявольской насмешкой, непристойной выдумкой.

Но главное отличие этой утопической выдумки от других в том, что она всегда удавалась и осуществлялась в миллионах примеров.

Николай был и типичным солдатом-фронтовиком и чиновником-бюрократом. В качестве солдата он относился с величайшим презрением ко всякой гражданственности, ко всему штатскому, ко всяким фрачникам, сюртучникам и штафиркам. В качестве бюрократа он презирал все стихийное, все органическое, все проявления живой действительности, не укладывающиеся в казенную форменную бумагу.

Придавив слабое восстание декабристов солдатским сапогом, он набросил петлю палача на шею России, и тридцать лет душил ее, душил до тех пор, пока не окоченела его рука. Но одной России

ему было мало. В 1830 году он придушил Польшу, в 1849 году — Венгрию.

На польскую конституцию он смотрел, как на царский подарок, и в этом отношении он проявлял известного рода «честность». Эта «честность» была сродни той профессиональной чести, которую часто соблюдают воры, разбойники, грабители.

Ненавидя конституцию, ненавидя поляков, он созывал сейм, говорил там почти корректные, конституционные речи и совершенно искренно полагал, что поляки должны быть ему несказанно благодарны за то, что он не крадет у них данной им Александром конституции, что он не совершает на них разбойничьих нападений.

В его голове никак не вмещалась идея, что поляки не хотят ни его благодеяний, ни его «честности», что они могут хотеть жить и устраиваться по своему и не чувствуют особого счастья в том, что его бабка, укравшая при помощи своих гвардейских наложников престол всероссийский, захотела еще обладать и Польшей.

Как только Польша обнаружила «неблагодарность», несмотря на то, что ее, дочиста ограбленную, милостиво /83/ нарядили в конституционные лохмотья, Николай расправился с нею по своему, отняв у нее, обессиленной и окровавленной, и эти европейские лохмотья, напялив на нее серый арестантский халат всероссийского бесправия.

Но когда жалкий и бездарный французский король, креатура союзников и эмигрантов, стал грубо нарушать ту конституцию, соблюдать которую он торжественно клялся, Николай возмущался этим королевским клятвopреступлением, вызвавшим, в конце концов, июльскую революцию, которой Николай еще больше возмущался.

Будь эта революция поближе, он бы ее, конечно, усмирил.

Такой случай ему и представился в 1849 году, когда венгры восстали против меттерниховской Австрии.

При Александре крепостные русские мужики, одетые в солдатские шинели, босые и голодные, вынуждены были спасать Пруссию.

При Николае такие же мужики вынуждены были спасать Австрию, как оплот европейского мракобесия.

Австрия всегда только вредила России, мешала ее ближне-восточной политике, стояла на пути стихийного стремления России к выходу в теплое южное море; Меттерниха, несмотря на родство душ, Николай ненавидел, как опасного и хитрого соперника на дипломатическом поприще, но Меттерних был душой «Священного союза», этого международного монархического заговора против народов, и Николай решил, что кровью русского народа надо спасти враждебную России меттерниховскую Австрию.

Николай вмешался также в бельгийскую революцию и добился того, что приобрел славу европейского жандарма, а Россия стала пугалом для всего, что было живого, передового и прогрессивного в Европе.

Все эти вмешательства Николая в европейскую политику ничего, кроме непомерных издержек, пролитой крови и общей ненависти, России не давали. Это тешило царское тщеславие Николая, но стране и народу приносило только вред даже в политическом отношении. /84/

Стихийное тяготение к югу страны, развивавшейся, несмотря на всю нелепость внешней и внутренней политики, было облечено в лицемерные формы якобы защиты православия от мусульманского ига. Но когда в европейской Турции возникали народные движения, в Греции, в Болгарии, Сербии, Николай усматривал в этом революционные возмущения против законного монарха — султана. Поэтому вся восточная политика Николая, несмотря на довольно успешные войны с Персией и с Турцией, получила фальшивую и часто прямо нелепую окраску, и на этой

политике, в конце концов, сорвалась вся николаевская система.

В то же время все сильнее сказывалась вся неспособность внутренней политики Николая. Крепостное право лежало камнем на всех путях, обессиливая и истощая страну, и без того истощенную вредной и раззорительной политикой внешней.

Восемь негласных комитетов один за другим бесплодно натаживались, чтобы сдвинуть этот камень с пути, но неодолимая трусость Николая всегда давала перевес заматерелым крепостникам.

Казалось бы, что перед грозным самодержцем все и все трепетали, никто не смел ему прекословить. Да и кому было прекословить?

Старая родовитая знать давно сошла со сцены.

Новая знать, те, что вели родословные свои от наложников или шутов развратных цариц, те, на рыцарских доспехах которых можно было изобразить только принадлежности алькова, хотя эти непристойные родовые гербы и красовались на фоне царской мантии, — едва ли могли представить серьезную оппозицию самодержавной воле.

Но Николай, сознавая, что в крепостничестве гибель России, все же боялся тронуть его, не потому, что он уж очень переоценивал наших лендлордов. Он видел, как они пресмыкались перед Аракчеевым, он знал, сколько проявлено было готовности, сколько нашлось угодливых палачей, когда он расправлялся со своими «друзьями 14-го декабря», как он называл декабристов. /85/

Когда Потемкин, вспылив как-то, при Сегюре ударил по лицу полковника, он, спохватившись, сказал:

— Что же с ними делать, когда они все это переносят.

Николай едва ли мог быть лучшего мнения о тех, которым он говорил *ты* и которые от него и от еще более грубого Михаила Павловича подобострастно все переносили.

Но... Николай, по-видимому, знал, что русскую знать, которая и деда, и отца его убила только с высочайшего разрешения, можно заставить все перенести, только бы не слишком задеть ее утробные интересы.

Николай знал, что он самодержавен и самовластен, но он знал также, что русское самодержавие ограничено цареубийством. Перед ним были примеры деда и отца, но, с другой стороны, 14-е декабря доказало ему, что Magna Charta Attentatis перестает быть классовой дворянской грамотой или высочайшей привилегией придворной знати, и может наполниться новым содержанием, рифмуя с libertatis.

Оставить крепостное право было губительно и опасно, разделаться с ним было еще страшнее и Николай, все долгое царствование свое беспомощно метался между двумя страхами.

Николай даже чувствовал, что крепостное право вредно и для самодержавия, и вообще для торжества монархического принципа, призванным от бога, носителем которого он считал себя. Едва ли он верил служителям казенной церкви, утверждавшим, что рабство самим богом установлено, и что право собственности помещиков на крестьянские души предопределено на небесах.

У русского народа свобода не была отнята завоеванием. Крестьянин спокон веков пахал, правда, довольно скверно, как и по днесь, сеял, жал, кое-как прокармливал себя и очень сытно — всех тех, кто не сеял, не пахал, а в житницы собирал. А свободу у него просто по частям разворовали и землю прямо из-под него вытащили. Правда, работать на этой земле ему позволили попрежнему и даже пуще прежнего, но земля эта оказалась не его, а чья-то чужая. Он, положим, в это /86/ не верил и продолжал считать землю своею, и никакие членовредительства, которыми пытались вытравить из него эту веру и это неверие, не вразумляли его. Эта-то вера в конце концов и спасла его. Но, пока что, приходилось очень туго и он временами начинал крепко серчать, и это начинало

внушать страх.

Екатерина еще очень весело, несмотря на Пугачева, раздаривала земли с крестьянами своим многочисленным наложникам, и даже Малороссию успела присоединить к крепостному состоянию, так как в Великороссии уже свободных от помещиков земель для фаворитов не хватало.

Но сын ее, Павел, уже начал задумываться, а внук, Александр, даже замечтался и загрустил, и затем ему стало некогда, так как надо было спасать Пруссию и Европу, чем он и накликал на Россию нашествие двенадцати языков. Наконец, Александр, как человек неожиданный, возмечтал, что мужику лучше всего устроить рай в виде военных поселений, благо под рукой оказался такой «ангел», как Аракчеев.

Николай был человек положительный, всякие мечтания презирал и даже Аракчеева отставил, но, напуганный 14-м декабря, он всю жизнь не мог прийти в себя от перепуга, сохраняя, однако, чрезвычайно бравую выправку и скрывая свой испуг под видом гордым и независимым и, главное, пугая других. /87/

4. Провал системы

Тревоги Николая все росли. Июльские дни 1830 г. в Париже его чрезвычайно огорчили, хотя он и не одобрял глупой и бездарной политики Карла X. Воцарение Луи-Филиппа, принявшего корону из рук революции, Николай решительно не одобрял и даже не хотел называть его «братом». Внутренняя победа над восставшей Польшей, хотя и дала Николаю повод отделаться от ненавистной ему польской конституции, еще усилила его неизбывный страх перед революцией. Незадолго перед тем окончившаяся война с Турцией ничего существенного России не дала, кроме нового истощения и до того расстроенных финансов.

После усмирения Польши Николай правил еще четверть века и создал то, что получило нарицательное название «николаевщины», или «николаевской эпохи».

В Европе было неспокойно в эти годы. После июльских дней 1830 года брожение усиливалось на всем континенте, пока не разразилось новым революционным взрывом 1848-1849 гг. А на святой Руси была тишь да гладь, только божьей благодати не было. Николай пользовался огромным престижем в Европе, где его и ненавидели, и боялись. Не было на всем европейском материке ни одного монарха, облеченного такой полнотой власти, бесконтрольно располагавшего средствами огромнейшей страны и послушной армией вымуштрованных рабов, готовых по приказу царя громить кого угодно и где угодно. /88/

Россия была идеалом всех реакционеров и пугалом всех, чаявших движения воды.

Негласные комитеты все натаживались, чтобы, по мысли царя, как-нибудь разделаться с крепостничеством, но так, чтобы это ни в каком случае не имело даже вида нововведения, чтобы не были нисколько затронуты интересы помещиков, и чтобы не потерпело никакого ущерба дворянское землевладение. Разрешения этой квадратуры круга Николай так и не добился, страшая последствий, и передал эту задачу своему преемнику.

Отчеты всех отделов управления, составленные по случаю двадцатипятилетия царствования Николая, подводят итоги всем достижениям этого царствования.

Николай был так твердо уверен в формуле: «государство — это я», что все делается им, его волей, его умом и инициативой, что на всех этих отчетах, посланных им наследнику, имеются его собственноручные надписи:

«Вот тебе мой отчет по Финляндии, вот тебе мой отчет по морской части» и т.д.

Революционное движение, прокатившееся по всей Европе в 1848-1849 гг., опять усилило страх Николая перед неуловимым духом времени. Он охотно стал бы усмирять всю Европу, но к ужасу его оказалось, что монархи, даже такой, как прусский король, спешат уступить страшному «духу времени». Но, когда революция перебралась даже в Австрию и грозила этому главному оплоту «Священного союза» меттерниховской системы и европейской реакции, Николай не выдержал и по

первому зову поспешил на помощь, двинул свои войска против венгров и спас австрийский трон.

Но к ужасу Николая оказалось, что и дома, в благополучную и богоспасаемую Россию проник тот же ненавистный дух революции.

Чуть ли не рядом с Зимним дворцом накрыт был кружок петрашевцев.

Перепуганный царь сообщил свой перепуг всей администрации. Западная граница была почти закрыта. Цензура, еще никогда и нигде не отличавшаяся умом — /89/ таково, видно, ее органическое свойство — достигла геркулесовских столпов глупости.

Возникла бредовая идея об упразднении всей литературы, цензоры, вроде Красовского или Тимковского, доходили до усердия прямо фантастического и ежедневно творили цензурные анекдоты, которые были так нелепы и невероятны, как невероятны могут быть только факты.

И все это творилось под личиной особого холопского благочестия, все это отдавало невыносимо противным ханжеством. Непристойнейшие гнусности творились «во имя бога и во славу православия».

А между тем Николай не был чужд понимания значения литературы. Он ценил Пушкина, хотя и отравил ему жизнь, ценил Лермонтова, которого сослал на Кавказ.

Когда ему доставили поэму Полежаева «Сашка», Николай велел доставить поэта перед свои царские очи и заставил его вслух при себе и Закревском прочесть все это весьма фривольное произведение.

Полежаеву был дан экземпляр рукописи, переписанной для Николая, и никогда, конечно, автору не приходилось видеть свое произведение так великолепно переписанным на такой отличной бумаге.

Когда Полежаев кончил это мучительное чтение, Николай, еще немного поиздевавшись над ним, поцеловал его в лоб и... отдал в солдаты, запретив что-либо писать.

Поцелуй этот кажется непонятным, если не видеть здесь исторического плагиата. Но Иуде Искаротскому поцелуй был нужен, а Николаю Всероссийскому даже и надобности не было.

Шевченко был тоже сдан в солдаты и тоже с запрещением писать, но тут обошлось без поцелуя.

Достоевский был отправлен на каторгу, Белинский успел умереть раньше, чем жандармы успели за него взяться, Герцен, после семилетних мытарств в тюрьме и ссылке, успел бежать за границу и т.д.

Несмотря на невероятную цензуру, на целый корпус жандармов, несмотря на то, что вся мощь Николая и его режима была направлена на подавление всякого /90/ движения, всякой жизни, всякой живой мысли, Россия стихийно росла, умственно и морально.

Выросла гениальная литература, писали Пушкин и Лермонтов, появились Гоголь, Достоевский, Лев Толстой. Будил мысль и чувство «неистовый» Виссарион Белинский, творили дело возрождения знаменитые московские кружки.

Люди сороковых годов под железной пятой императора-жандарма страдали, задыхались, но неуклонно творили свое дело, творили ту новую Россию, пришествия которой больше всего боялся Николай. Дворянская молодежь стала отрешиваться от своего классового знамени, устыдилась своей «крещеной собственности», стал выдвигаться разночинец.

А николаевское самодержавие расплылось, разменялось, на бесчисленных мелких самодержцев бюрократии, на «сорок тысяч столоначальников».

Николай больше всего в мире любил порядок; и никогда не было на Руси такого повального

воровства, как при Николае. Россию буквально разворовывали. И Николай это знал. Он знал, что если и был на Руси один бюрократ, один командир, который не воровал, то это был он сам, и то только потому, что он считал Россию своей вотчиной, которую он прикарманил 14 декабря 1825 г., угостив своих сомневающихся верноподданных картечью и пройдя, по лужам крови и чрез их трупы, к русскому трону. Не себя же ему было обкрадывать.

Сам на всю жизнь перепуганный и царствовавший под вечным страхом Николай отводил душу, пугая других.

Авантюры внешние всегда считались подходящим отвлекающим средством от огорчений внутренних. И Николай, огорченный тем брожением умов, которого никак нельзя было истребить в родной вотчине, усмиривши — кровью и достоянием русских мужиков — венгров и спасая австрийский трон, стал запугивать Турцию, требуя протектората над всеми православными, жившими под турецким владычеством. К тому времени Николай, смертельно надоевший России, стал надоедать и Европе. /91/

В составившуюся против него коалицию вошла также только что спасенная им Австрия...

Николай был прежде всего солдатом, «отцом-командиром». В этой области он считал себя непререкаемым специалистом. На всю Россию он смотрел, как на свою казарму, как на подчиненный ему дисциплинарный батальон.

До сих пор Николай одерживал бесспорные победы на Сенатской площади, над восставшей Польшей, над восставшими венграми.

Не всегда успешно воевал он один на один с Турцией, успешнее со слабой Персией, никак не мог одолеть кавказских горцев.

Тут впервые пришлось ему сдать военный экзамен в войне с европейскими войсками.

Оказалось, что этого экзамена выдержать никак не удастся. Беззаветно храбрых солдат можно десятками тысяч укладывать под неприятельскими снарядами, можно затопить собственный флот, но побеждать нечем.

Вооружение отстало, снаряжение отстало, все разворовано, расхищено, нет ни толка, ни порядка. Весь смысл николаевского режима оказался сплошной бессмыслицей, все строгости, суровости, жестокости оказались пустой бравадой перепуганного человека, который со страху пугал других.

И все еще считая Россию своей воинской частью, Николай должен был сознаться перед смертью, что сдает команду своему преемнику далеко не в полном порядке.

Этого надменный самодержец не выдержал, и умер обманутый, разочарованный и опозоренный.

Умер от простуды или отравился? Этого до конца выяснить так и не удалось, хотя тогда же уверяли, что он заставил доктора Мандта дать ему яду. Мандта даже перестали принимать после этого в Петербурге, и он с горя уехал за границу.

Во всяком случае, добровольно или нет, но Николай умер в разгар краха всей его системы, и в его лице умер последний русский самодержец.

Николай умер, ненавидимый и проклинаемый всем, /92/ что было живого, честного и благородного в России и в Европе.

Николай был цельной, выдержанной фигурой самодержца и консерватора, он искренно считал себя от бога поставленным отцом-командиром над подданными-детьми.

Правда, его консерватизм шел так далеко, что напоминал знаменитого графа Уголино, который был так консервативен, что съел своих детей, лишь бы сохранить им отца...

И один из замечательнейших поэтов русских, Тютчев, славянофил, патриот и верноподданный монархист, воспевавший даже Муравьева-вешателя, написал убийственную эпитафию Николаю:

Не богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей.
И все дела твои, и добрые, и злые
Все было ложь в тебе, все призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.
/93/

Александр II

1. Вновь «Дней Александровых начало»

Не стало императора-жандарма, беспощадного тюремщика несчастной России, и на престол вступил человек во цвете лет — Александру было 37 лет в 1855 году — воспитанник поэта Жуковского.

Александр II напоминал личной привлекательностью своего дядю Александра I, но над его совестью не тяготело участие в убийстве отца.

Александр II вступил на престол, как единственный бесспорный наследник, у него не было старшего брата и ему ни с кем не приходилось пререкаться за свой престол. Его воцарение не было омрачено ничем, кроме несчастной войны, доставшейся ему в наследство от политики отца.

«Государь, ваше царствование начинается под удивительно счастливым созвездием. На вас нет кровавых пятен, у вас нет угрызений совести».

«Весть о смерти отца вам принесли не убийцы его. Вам не нужно было пройти по площади, облитой русской кровью, чтобы сесть на трон. Вам не нужно было казнями возвестить народу ваше восшествие».

«Летописи вашего дома едва ли представляют один пример такого чистого начала».

Это из открытого письма, с которым 11 марта 1855 года обратился Герцен из Лондона к Александру. Письмо снабжено было эпиграфом из «Оды в. кн. Александру Николаевичу», написанной Рылеевым в 1823 г.

«Разумеется», — писал дальше Герцен, — «моя хоругвь не ваша: я неисправимый социалист, вы — самодержавный /97/ император; но между вашим знаменем и моим может быть одно общее, именно — та любовь к народу, о которой шла речь».

И во имя ее я готов принести огромную жертву. Чего не могли сделать ни долголетние преследования, ни тюрьма, ни ссылка, ни скучные скитания из страны в страну, то я готов сделать из любви к народу.

Я готов ждать, стереться, говорить о другом, лишь бы у меня была живая надежда, что Вы что-нибудь сделаете для России.

Государь, дайте свободу русскому слову. Уму нашему тесно, мысль наша отравляет нашу грудь от недостатка простора, она стонет в цензурных колодах. Дайте нам вольную речь... Нам есть что сказать миру и своим.

Дайте землю крестьянам, — она и так им принадлежит».

Герцен ждал в страстном нетерпении. А в 1857 году произошло следующее.

В двух книжках «Современника» появилась статья профессора Кавелина. Кавелин считался человеком настолько благонадежным, что он преподавал русское право наследнику, а статья была

пропущена цензурой.

Статья Кавелина доказывала необходимость освобождения крестьян с землею в размере тех наделов, каким они до того пользовались, и не иначе, как с вознаграждением помещиков путем выкупа.

Главный комитет признал эту статью вредною и опасною. Пропустившему ее в печать попечителю учебного округа князю Щербатову сделан был выговор, Кавелин отставлен был от должности преподавателя наследника, а министр народного просвещения Ковалевский по приказанию Александра сделал распоряжение по цензуре в таком духе, что после этого обсуждение в печати крестьянского вопроса должно было почти прекратиться.

Но это происходило через два года после воцарения Александра, а тогда, в 1855 г., когда Герцен писал свое письмо, «светлые ожидания» еще ничем не были омрачены. /98/

Вздых облегчения пронесся по всей стране, когда веревка, тридцать лет душившая мертвой петлей Россию, выпала из окаменевших рук Николая.

Как водится, новый царь в своем манифесте обещал следовать по стопам предков, Петра Великого, Екатерины, Александра Благословенного и незабвенного родителя.

В этом царском инвентаре пропущен только Павел. Что же касается прабабушки Екатерины, то эта вольтерьянка кончила, как известно, мракобесием; Александр I, начав якобинством, кончил аракчеевщиной, цельным же и последовательным с начала до конца был только «незабвенный» Николай.

Кому же и чему собирался следовать воспитанник Жуковского? Но все понимали, что это только казенные слова, соблюдение принятых приличий, и нетерпеливо стали ждать поступков. Новый царь возбуждал тем больше надежд, что он в цари попал не случайно, как Николай, получивший государственное воспитание, по его собственным словам, в передней Александра I.

Александр Николаевич в продолжении многих лет был законным наследником, и в течение двадцати почти лет, протекших от его совершеннолетия до воцарения, принимал довольно близкое участие в делах управления.

Он занимал не только ответственные военные должности, но присутствовал в Государственном Совете и был даже членом синода. Притом, во время разъездов Николая, он часто заменял его. И воспитание, и образование его с самого начала были рассчитаны на то, что он будет царствовать. Он прошел даже нечто вроде курса высших государственных наук, не только военных, но и дипломатии, и законоведения, которое ему читал старик Сперанский, правда, уже отрешившийся тогда от греха конституционализма.

Сущность самодержавия Сперанский объяснил юному Александру следующим образом:

«Слово неограниченность власти означают то, что никакая другая власть на земле, власть правильная и законная, ни вне, ни внутри империи, не может положить пределов верховной власти российского самодержца. /99/ Но пределы власти, им самим поставленные, извне государственными договорами, внутри словом императорским, суть и должны быть для него непреложны и священны. Всякое право, а следовательно, и право самодержавное, потому есть право, поколику оно основано на правде. Там, где кончается правда и начинается неправда, кончится право и начнется самовластие».

Это, конечно, не совсем то, что Лассаль говорит о «сущности конституции», но если бы юный Александр дал себе труд вникнуть в эти слова старого конституционалиста, он бы мог придти к заключению, в данном случае пророческому, что при известных условиях, например, при отсутствии правды в пользовании царской властью, может возникнуть власть за пределами «власти законной и правильной», например, революционная, и положить предел «верховой власти русского самодержца». Ибо, хотя в России и действительно установилось неограниченное самодержавие, но оно все же было ограничено цареубийством. Затем, Александр мог бы вывести заключение, что своим императорским словом он может «непреложно» ограничить свою власть. Но

Александр если и понял это, то лишь много лет спустя и слишком поздно.

Но тогда, в молодости, Александр, благоговевший перед отцом, мог не из слов Сперанского, а из дел правления, в которые Николай старательно посвящал своего наследника, проникнуться совершенно другими началами.

Николай никак не мог ограничивать себя даже теми законами, которые он сам бесконтрольно и самодержавно сочинял.

Николай ввел своего сына и в Сенат, и в Государственный Совет, и в комитет министров, и даже в синод, но сам он с этими учреждениями нисколько не считался. Да и как ему было считаться, когда о сенаторах своих, например, он писал в 1827 г., что

«среди всех членов первого департамента сената нет ни одного, которого можно было бы не только что послать с пользою для дела, но даже **показать без стыда**»,

а что касается комитета министров, то Николай обращался /100/ к нему преимущественно тогда, когда требовалось, чтобы комитет находил «легчайшие пути» для обхода законов или, выражаясь языком официального лицемерия:

«государь обращался иногда к комитету министров с требованием, чтобы комитет указал ему легчайшие пути для приведения в действие задуманных государем мероприятий, независимо от того, согласно ли это вполне с законом или нет».

Собственная канцелярия Николая разбухла в учреждение с 6-ю отделениями, кроме того, заседал целый десяток негласных комитетов, и все это вне высших государственных учреждений, и все, а главное, сам Николай, самовластно путали все дела.

Такова была та атмосфера, в которой вырос и возмужал Александр II, таков был пример «незабвенного родителя», которому Александр обещался следовать...

И все-таки радужные ожидания, раз уже так жестоко обманутые царствованием Александра первого, вновь возникли с воцарением Александра второго, возникли, чтобы кончиться таким же обманом и еще более горьким разочарованием.

Впрочем, вначале Александру было не до реформ. Надо было прежде всего развязаться с полученным тяжелым наследием Крымской войны.

Пришлось уйти из развалин Севастополя и отправиться на парижское судилище, где не только Англия, но и «удивившая мир своею неблагодарностью» Австрия всячески старались унижить Россию, и только герой 2-го декабря несколько поддержал ее.

Только после заключения Парижского мира был, после десяти бесплодных негласных комитетов Николая, образован новый негласный комитет, который, опять-таки секретно, стал обсуждать вопрос «об улучшении быта крестьян».

Но было слишком ясно, несмотря на всю секретность, что под этим старым псевдонимом надо разуметь уничтожение крепостничества.

Николай еще сомневался, что опаснее: сохранение крепостного права или освобождение крестьян. Александру уже в этом сомневаться нельзя было, и он откровенно высказал это, заявив московскому дворянству, /101/ что лучше провести освобождение крестьян сверху, чем дожидаться, чтобы это произошло снизу.

Если после Отечественной войны удалось обмануть крестьян и вместо воли преподнести им военные поселения, то теперь, после Крымской войны, дело обстояло иначе. В деревнях только и говорили, что о воле, только ее и ждали. Жить стало помещикам беспокойно. Дворовые о чем-то шептались, крестьяне смотрели как-то загадочно и, как казалось господам Коробочкам и Пульхериям Ивановнам, — дерзко. В каждом движении Прошки или Палашки усматривалось нечто подозрительное, чуть ли не опасное. И, в ожидании надвигающейся «катастрофы», помещики

нервничали. Иные пугливо уходили в себя и кротко молились богу и заступнице всех обиженных св. богородице, чтобы миновала чаша сия и не была отнята от них «крещеная собственность», другие выходили из себя, свирепели и в каждом взгляде раба улавливали злорадство, крамолу, и новыми жестокостями старались изгнать мерещившийся им везде и во всем дух буйства и своеволия.

По всем Обломовкам распространился какой-то помещичий бред. Чуялось, что надвигается что-то страшное, жуткое, небывалое, ждали не то светопреставления, не то новой пугачевщины. За каждым мужицким голенищем (где у мужиков водились сапоги) чуялся спрятанный нож, каждый мужицкий топор казался нарочито отточенным. Люди, которые из поколения в поколение вырастали на мужицких хлебах, на даровой барщине, никак не могли вообразить себе, что же будет, когда всего этого не станет.

Волновались и крестьяне — и в ожидании воли, и по поводу земли.

Спокойнее и радостнее было настроение в городах. Жить сразу стало легче, свежее, свободнее. Одно за другим стали отпадать мелкие стеснения николаевского режима. После смерти Павла радовались, что можно надевать круглые шляпы и фраки, что при встрече с царем не надо более выскакивать из экипажей, снимать шляпы и становиться на колени, какая бы ни была грязь и слякоть. /102/

Теперь радовались паспортным облегчениям, возможности свободно выезжать за границу.

Уничтожены были военные поселения, и во всем чувствовалось, что начинается новая, более светлая жизнь, чувствовалось начинающееся возрождение, прилив творческих сил.

Правда, печать еще вынуждена была молчать или говорить намеками, но и тут уже многое прорывалось, — с трудом и не без злоключений, как мы видели на примере Кавелина. /103/

2. «Царь-освободитель»

Когда Александр II, наконец, отбросил псевдонимы, вроде «улучшения крестьянского быта», и в своем рескрипте открыто заговорил об «освобождении» — это было в 1858 г., — Герцен в своем «Колоколе» приветствовал его в статье словами:

«— Ты победил, галилеянин!»

И тут же, в этой статье, Герцен возвел Александра в чин, который был бесконечно почетнее всех тех многочисленных чинов, орденов, званий и прочая, и прочая, и прочая, которые украшали фигуру и мундир русского самодержца.

Герцен дал Александру II имя «освободителя».

Но в том же 1858 году, 1 июля, в первую годовщину «Колокола», Герцен стал испытывать разочарование.

«Год тому назад вышел первый лист “Колокола”. Невольно останавливаемся мы, смотрим на пройденный путь... и на душе становится грустно и тяжело».

«А между тем, в продолжение этого года, сбылось одно из наших пламеннейших упований, начался один из величайших переворотов в России, тот, который мы предсказывали, жаждали, звали с детских лет, — началось освобождение крестьян».

«Но на душе не легче, и чуть ли мы за этот год не сделали шага назад».

«Причина очевидна, мы ее сказали прямо и мужественно: **Александр II не оправдал надежд, которые Россия имела при его воцарении**». /104/

В главном комитете большинство состояло из заведомых крепостников, которые всячески

старались затянуть дело и по возможности испортить его.

Из дворян только меньшинство, да и то из молодежи, которая не пользовалась в помещичьих кругах влиянием уже по самой молодости, стояло за освобождение. Огромное большинство либо возмущалось самой мыслью об упразднении крепостничества, видя в этом возмутительное нарушение «исконных» дворянских прав, либо — те, которые были поумнее — норовило устроить освобождение без земли.

Эти отлично понимали, что освобождение крестьян без земли, или, вернее, освобождение крестьян от земли, лучше и вернее всякого крепостного права отдаст крестьян всецело в дворянские руки.

Они понимали, что такое положение даже удобнее крепостничества, потому что заставит мужика работать на помещика на каких угодно условиях и снимет с помещика уже всякую заботу о мужике.

Тем более это улыбалось дворянам, что и суд, и полиция должны были остаться в дворянских руках, как это было в остзейских провинциях.

Правда, в России тогда уже выросла многочисленная внеклассовая интеллигенция, которая могла поддержать реформаторские стремления царя и на которую Александр мог бы опереться. Но у Александра не хватило ни энергии, ни смелости, чтобы вырваться из крепко сплетенной сети табели о рангах.

Александр был, в сущности, «очень милой» посредственностью. Он был то, что в детстве называется «пай-мальчик», был кроток, послушен и почтителен. Если бы он учился в гимназии, он был бы, вероятно, типичным «первым учеником». Он был с ленцой, не очень даровит, но чрезвычайно аккуратен, благонравен и послушен. Родители на него нарадоваться не могли.

Даже в возрасте бурной юности, даже в таком случае, когда молодое чувство охватывает душу, благонравие берет у Александра верх.

В 1839 году молодой Александр совершал путешествие /105/ по Европе в сопровождении Жуковского и других лиц своей свиты.

Возвращаясь из Италии и объезжая дворы бесчисленных немецких родственников, наследник попал и в Дармштадт, который, собственно, и не входил в маршрут. Но по настоянию одного из лиц свиты наследник согласился и на этот скучный визит. В Дармштадте великий герцог повез Александра в театр, а оттуда к себе в замок, на устроенный в честь гостя вечер.

«Этот импровизированный дармштадтский праздник казался всем одним лишним эпизодом, который должен был только надоесть и наскучить», — рассказывает Жуковский.

«Совершенно иное значение», — говорит историк Александра II Татищев, — придала ему встреча Александра Николаевича с младшею дочерью великого герцога, пятнадцатилетней принцессой Марией. Поздно вечером вернулся он домой, очарованный, плененный. Имя принцессы не сходило у него с уст. Впечатление свое он тотчас же изложил в письмах к родителям. Тяжело ему было уезжать из Дармштадта. Добрый Жуковский вызвался было притвориться больным для того, чтобы доставить ему повод, из любви к занемогшему наставнику, остаться в этом городе еще несколько дней. Наследник не согласился. «То, на что решился он», — отписал Василий Андреевич императрице, — «конечно, лучше, ибо он и в деле сердца предпочел дожидаться того, что будет решено государем, и следовать своему чувству только тогда, когда оно будет согласно с одобрением вашим».

Как все это типично для Александра: и эта любовь к тихой и скромной немецкой девочке, и это полное подчинение чувства родительскому одобрению и установленному маршруту... Типичный образцовый благонравный мальчик из поучительной детской книжки.

Александр знал, что об освобождении крестьян задумывалась еще Екатерина, раздарившая, впрочем, около 800 тысяч крестьян с их землями своим фаворитам. Он знал, что с мечтой об освобождении носился 25 лет Александр I, и что тридцать лет все примерялся /106/ к этому

«незабвенный» родитель, оставив ему эту задачу в наследство.

И в первые годы своего царствования, еще не отравленный безнадежно придворной атмосферой, с душой, еще не изъеденной язвой самодержавия, он взялся за исполнение того, что считал своим долгом, со всею доступною ему энергией. И царствованием Николая, в котором Александр сознательно участвовал лет двадцать, и воспитанием и образованием своим, слишком скудным и односторонним, как у всех Романовых, он не был достаточно подготовлен к серьезной государственной деятельности. Бюрократия и ближайшие к нему люди, воспитанные в николаевскую эпоху, могли только вредить и мешать. От дворянства слышался преимущественно «волчий вой жадных крепостников».

Пугало его и дворянство своей оппозицией, пугали его и крестьянскими бунтами, призраком пугачевщины. В семье своей он, правда, находил поддержку и со стороны брата своего Константина, и еще более со стороны вел. кн. Елены Павловны. Много помог ему и Я.И. Ростовцев, к которому Александр относился с полным доверием. Правда, Ростовцев мало понимал в крестьянском вопросе, но он отнесся к делу с благоговением и преданностью, и охотно прислушивался к мнениям людей более сведущих. Он велел доставлять из 3-го отделения в редакционные комиссии даже герценовский «Колокол», чтобы и из него поучаться, и делал это с большею пользой для дела, чем Николай, изучавший записки декабристов.

Явились и такие деятели, как Н.А. Милютин, Семенов и кн. Черкасский.

Хотя редакционные комиссии состояли исключительно из дворян, но все же они делали свое дело с энергией и добросовестностью.

Благодаря председательству Ростовцева, чуждого канцелярской рутине и опиравшегося на полное доверие Александра, дело пошло настолько успешно, что вызвало восторженные отклики таких людей, как Герцен и даже Чернышевский.

Чернышевский писал в «Современнике» по поводу рескрипта Александра: /107/

«Благословение, обещанное миротворцам и кротким, увенчает Александра II счастьем, каким не был увенчан еще никто из государей Европы, — счастьем одному начать и совершить освобождение своих подданных».

Это было писано тогда же, когда свободное перо Герцена в революционном «Колоколе» приветствовало «царя-освободителя».

Но, как впоследствии Герцену пришлось покаяться в своем увлечении и писать в 1861 г.:

«Старое крепостное право заменено новым. Вообще крепостное право не отменено. Народ... обманут», —

так еще раньше пришлось покаяться и Чернышевскому.

В декабрьской книжке «Современника», за тот же 1858 г., Чернышевский, «с досадою и стыдом за свою глупость», изображает себя в положении человека, обрадовавшегося, что дорогих ему людей угощают отличным обедом, и вдруг узнавшего, что обед достанется им очень солоно:

«Как я был глуп, что хлопотал о деле, для которого не обеспечены все условия!» — восклицает он. — «Лучше пропадай вся эта провизия, которая приносит только вред любимому мною человеку, лучше пропадай все дело, приносящее вам только разорение».

Слова эти, напечатанные в 1858 г., оказались пророческими, что и подтвердилось Положением от 19 февраля 1861 г., которое, несмотря на неосмысленный энтузиазм одних и казенный энтузиазм других, принесло слишком много разочарований.

Когда умер Ростовцев, обративший к Александру свой предсмертный завет:

«Государь, не бойтесь»,

председателем редакционных комиссий был назначен Панин, бюрократ и в душе крепостник.

Работа редакционных комиссий затормозилась, и впоследствии заменивший Панина вел. кн. Константин Павлович уже не мог многого исправить.

Под влиянием Панина, наделы, высшие нормы которых редакционные комиссии признали слишком малыми для устройства крестьян, были понижены. /108/

Дальше они еще больше были понижены в главном комитете и опять в Государственном Совете.

Прошло мимо редакционных комиссий положение о праве помещиков покончить все свои обязательства к крестьянам предоставлением дарового надела в 1/4 установленного для данной местности надела, чем неосмотрительно затем воспользовалось около 720 тысяч крестьян, перешедших на т. наз. «нищенские», или «сиротские» наделы.

В конце концов, крестьяне были обложены платежами, превышавшими и стоимость перешедшей к ним земли, и их платежные силы. Помещики очень скоро прокутили полученные выкупные суммы и с легкомысленной торопливостью шли к разорению и неоплатной задолженности.

Александр не желал этого, но не умел сладить со всеми интригами и подвохами и, торопясь окончить дело, все это утвердил и этим подписал свой смертный приговор. И приговор этот, predetermined уже тогда, на заре его реформаторской деятельности, настиг его ровно через двадцать лет, когда царствование этого человека было отягчено целым рядом высочайших преступлений.

Человек сороковых годов оказался, в конце концов, одним из тех «лишних людей», — которых рождала историческая нескладница русской жизни...

Порвалась цепь великая,
Порвалась и ударила
Одним концом по барину,
Другим по мужику.

Николай I хотел уничтожить крепостное право, но так, чтобы не причинить ни малейшего ущерба, ни малейшей обиды помещикам, и за 30 лет ничего, конечно, не мог в этом смысле придумать.

Александр II решил, что надо освободить, хотя бы пришлось наполовину обидеть помещика и наполовину мужика. И получил нищее, обобранное крестьянство и растерявшееся, разорившееся дворянство. И помещики, и крестьяне одинаково чувствовали себя обманутыми. /109/

3. Реформы

Естественным дополнением или продолжением крестьянской реформы была реформа земская, или реформа местного самоуправления. И на эту реформу дворянство, правившее в центре, наложило свою тяжелую руку.

В цензовом земстве крестьяне, т.е. огромное большинство населения, были везде в меньшинстве и, следовательно, в полной зависимости от дворянского большинства.

Кроме того, земству были предоставлены только местные хозяйственные функции, причем администрации, т.е. дворянской бюрократии с губернатором во главе, были даны над земством обширные права. И земству приходилось затрачивать значительную часть своей энергии не на прямое дело устройства местной жизни, а на борьбу с притязаниями, произволом, а частью прямо и с непониманием и злонамеренностью администрации или попросту с губернаторским самодержавием.

Губернаторы, часто люди чужие, выслужившиеся в петербургских канцеляриях или в воинских казармах и на плац-парадах, к которым также наследственное «влечение, род недуга» питал и

«либеральный» Александр, либо получавшие губернаторские места «по тетушкиной протекции», — как водится, ничего не понимали ни в деле самоуправления, ни в делах хозяйственных, ни в местных особенностях.

Лучшими губернаторами были те, которые /110/ «вышивали по тюлю» и ничего другого не делали. Но таких «идеальных» губернаторов было немного. Большей частью губернаторы старались возмещать свое незнание и непонимание проявлением «твердой власти», тем более что прерогативами этой власти они были снабжены в преизбыточных размерах.

Собрание административных анекдотов губернаторского управления составило бы многотомное сочинение для юмористического времяпрепровождения.

Но результаты деятельности всех этих хлыщей, недорослей и бюрократов, полковников, наживавшихся на солдатских и лошадиных пайках и обиженных производством в генералы, отстранявшихся от непосредственного хозяйничанья, помпадуров, получивших воспитание в конюшнях и прошедших полный курс образования в танцклассах — были очень печальны для земского дела.

Щедрин, сам некогда бывший вице-губернатором, горько осмеивал эту комедию самоуправления, призванного к «лужению рукомойников» в больницах.

Впрочем, была одна реформа, разработка которой была почти всецело произведена не враждебными руками. И реформа эта была лучшим достижением первого периода царствования Александра II.

Это была реформа судебная.

Вся колоссальная работа составления новых судебных уставов была проделана с необычайной скоростью, в одиннадцать месяцев. Это был какой-то светлый порыв, единый и цельный, озаренный удивительным воодушевлением. В некоторых отношениях эта реформа шла дальше своих европейских образцов, напр., выборное начало мирового суда, что имелось до того только в Америке.

Эта творческая работа вышла такой добротной, такой цельной и слитной, что потребовались почти сороколетние усилия реакции, чтобы постепенно испакостить ее и низвести до общего уровня бюрократически-полицейского строя.

Старый дореформенный суд наш был до того гнусен, до того безобразен, что никакие частичные исправления были совершенно немыслимы. Об этом не было /111/ двух мнений. Оставалось только выкинуть за борт государственного корабля этот гнилой хлам и создать нечто новое. Тут крепостники ничего не могли поделать, прежде всего, по своему невежеству и некомпетентности. Притом, тут уж не так непосредственно были задеты материальные классовые интересы или, по крайней мере, задетость их не так ярко бросалась в глаза.

Одним словом, крепостники проглядели, царь, сентиментально увлекшийся словами о «суде правом, скором, милостивом и равным для всех», недоглядел, и в 1864-1866 гг. совершилась самая крупная ошибка царствования Александра II.

Судебные уставы 1864 г. совершенно не укладывались в рамки того полицейско-бюрократического строя, от сущности и основ которого Александр и не думал отказываться. Получилась какая-то наглядная несообразность, государственная дисгармония в системе царского самодержавия.

Александр вполне понял свою ошибку только через много лет, после оправдания судом присяжных Веры Засулич.

Первоначальная цельность судебной реформы тем более удивительна, что время ее разработки и введения относится к годам уже начинавшей обозначаться реакции после польского восстания.

Поляки упорно не желали считать себя счастливыми даже под самодержавно-либеральным

скипетром русского царя.

Былой блеск «Речи Посполитой», эта золотая мечта панства, непрестанно тревожил польские сердца и туманил головы. Паны ждали от Александра, по крайней мере, восстановления отнятой у них Николаем конституции, но Александр, по-видимому, руководился известной французской поговоркой о самой красивой девушке... Не думая о конституции для России, он не считал возможным даровать конституцию Польше. Правда, в Финляндии какая-то двусмысленная конституция была, но там ее никто не отменял, хотя Николай и не собирал сейма, да Финляндия тогда ведь и не бунтовала.

Польские паны подняли восстание, но только тогда /112/ они обещали дать своим «хлопам» землю. Было поздно. Вышло по поговорке, которая панам — любителям охоты — должна была быть хорошо известна: на охоту ехать — собак кормить.

При таких условиях польское восстание, не поддержанное ни польским, ни литовским крестьянством, не трудно было подавить. И дождались польские паны такого срама, что землю польским и литовским крестьянам дали, из политических видов, русские варвары, эмиссары царского правительства.

Александр при подавлении польского восстания обнаружил, в какой мере свойственны были ему родовые черты Романовых. У Александра I нашлись такие исполнители, как Аракчеев или полковник Шварц, — прославившийся командир Семеновского полка. У Александра II нашелся такой усмиритель, как Михаил Муравьев.

При назначении Муравьева «добряк» Александр ни мало не ошибался. Он знал, кого назначает. Этот раскаявшийся член Союза Благоденствия, привлеченный было даже к следствию о декабристах, имел совершенно определенную известность.

Даже в жестокое царствование Николая Муравьев сумел выделиться зверскими истязаниями крестьян Курской губернии, где он в качестве губернатора прославился особо нещадным взысканием недоимок.

Знал Александр Муравьева и по его деятельности в столь близком «любвеобильному сердцу» царя деле освобождения крестьян. Там Муравьев открыто выступал, как самый заядлый, самый непримиримый крепостник и враг освобождения.

Такой жестокости и такого кровавого издевательства над побежденными, какие проявил в Вильне Муравьев-вешатель, не было проявлено даже во времена Николая. Александр положительно превзошел своего «незабвенного» родителя.

Сжигались дотла целые селения, причем жители отправлялись в Сибирь поголовно, не исключая женщин и детей.

Продолжались эти неистовства целых два года, после /113/ чего Александр возвел Муравьева в графское достоинство.

Наряду с этими действиями Муравьева в Литве шла реформаторская деятельность в области поземельных отношений в Польше.

Освобождение крестьян в России Александр откровенно мотивировал тем, что лучше сделать это сверху, чем дожидаться, чтобы оно само собою совершилось снизу.

Крестьянская реформа в Царстве Польском имела не менее откровенную политическую подкладку. Надо было произвести резкую грань между революционно настроенным польским дворянством, духовенством и горожанами, с одной стороны, и обезземеленным польским крестьянством — с другой, привлекая последнее на сторону русской власти.

Для кровавых расправ Александр нашел такого закоснелого крепостника и непримиримого врага крестьян, как Михаил Муравьев. Для земельной реформы Александр нашел деятелей из

противоположного лагеря.

Николай Милютин и его сотрудники, Черкасский и Самарин, сделали то, чего никак не решились сделать революционные польские паны.

Польские крестьяне были свободны не только лично, они были свободны и от земли, что ставило их в положение, которое часто бывало не лучше, а нередко и хуже положения крепостных крестьян в России. Русская власть наделила их землей и, так как польских дворян было не жалко, и тут Милютину никто не мешал, то условия были даже лучше тех, на которых получили землю русские крестьяне.

Таким образом, даже вначале «освободительного» царствования Александра II, еще до расцвета реакции, меры либеральные и реакционные, гуманность и жестокость все время переплетались.

Крестьянская реформа была испорчена еще до выхода ее из утробы, так как она явилась компромиссом между освободительной идеей и жадными вождениями «закоснелых крепостников». /114/

В стихотворении, посвященном памяти Н.А. Милютина, Некрасов говорит:

Чуть колыхнулось болото стоячее,
Ты ни минуты не спал.
Лишь бы не стыло железо горячее,
Ты без оглядки ковал.
В чем погрешу и чего не доделаю,
Думал, — исправят потом.
Грубо ковал ты, но руку умелую
Видно доныне во всем.

Да, «исправят потом», — надеялся кузнец-гражданин, и едва ли предвидел, как «испортят потом».

А портить стали очень скоро.

Через 2 месяца после 19 февраля пришлось уйти и Милютину, и министру Ланскому, а министром внутренних дел Александр назначил Валуева, того самого, который был правой рукой крепостника Муравьева и по его заказу писал критику на проекты редакционных комиссий.

Проведение реформы, таким образом, сразу попало в руки ее врагов. Началось с увольнения тех губернаторов, которые искренно сочувствовали реформе (калужский — Арцимович, нижегородский — Н.Н. Муравьев), а затем Валуев принялся за мировых посредников первого призыва, причем и тут ему удалось сократить людей наиболее независимых и сочувствовавших реформе.

В то же время печати была запрещена критика Положения 19 февраля и способов его осуществления.

Ту же политику продолжал преемник Валуева, Тимашев, старавшийся лишить земские учреждения всякой самостоятельности и всецело подчинить их административному произволу. Впрочем, еще при самой разработке проекта земского положения первый председатель комиссии, Н.А. Милютин, должен был уступить свое место Валуеву.

Но и урезанное, цензовое и опекаемое земское самоуправление сейчас же стали урезать и ограничивать еще дальше.

В 1866 году только стали вводить новые судебные уставы, причем открыли судебные учреждения пока /115/ только в Петербурге и Москве, а уже 8-го января того же 1866 года цензор Никитенко отмечает в своем дневнике:

«Говорят, что шепнуто, кому подобает, что здешнему суду было внушено, да не придерживается

он очень строго закона в оправдании проступков по делам печати».

В том же 1866 году петербургский окружной суд оправдал редактора и сотрудника «Современника» Ю. Жуковского и А.Н. Пыпина, не найдя в инкриминируемой статье («Вопросы молодого поколения») состава преступления.

Валуев по этому поводу ходатайствовал перед царем о смещении с должности «несменяемого» председателя суда Мотовилова. Министру юстиции Замятину лишь с большим трудом удалось отстоять председателя, который в разборе дела и не мог принимать никакого участия, находясь в отпуску. Но в том же году Валуеву удалось провести через Государственный Совет закон, который лишил окружные суды права рассматривать литературные дела, передав это право судебным палатам.

В начале 1867 года Александр уволил и министра юстиции Замятина, и его товарища Стояновского, горячих поборников судебной реформы, а новый министр гр. Пален очень ловко покончил с несменяемостью судебных следователей. Он судебных следователей не назначал, а заменял их исправляющими должность судебного следователя. А этих, не пользовавшихся несменяемостью, можно было увольнять когда угодно и за что угодно и, следовательно, держать в полной зависимости.

Это все творилось в самом начале реформаторской деятельности Александра II, когда только появлялись первые зеленые ростки реформы, когда еще «были новы все впечатления бытия» реформенного. Творилось еще в те годы, которые считаются эпохой самого расцвета «либерализма» Александра II, еще до выстрела Каракозова, с которого будто бы только начались первые проявления реакции.

6 апреля 1865 года появился новый закон о печати. /116/

Закон этот должен был, согласно высочайшему повелению, «дать отечественной печати возможные облегчения и удобства», но еще прежде, чем новый цензурный устав вошел в силу, Валуев добился от царя повеления, «чтобы главному управлению по делам печати всегда оказывалось надлежащее содействие со стороны чинов судебного управления», и издал такие правила о типографиях, что были хуже всякой цензуры. А профессор и цензор Никитенко в своих записках под 16 мая того же 1865 г., отметил:

«Литературу нашу, кажется, ожидает лютая судьба. Валуев достиг своей цели. Он забрал ее в свои руки и сделался полным ее властелином. Худшего господина она не могла и получить... Он, должно быть, так же точно презирает всякое умственное движение, как презирали его в предшествовавшее царствование, и думает, что административные меры выше и сильнее всякой мысли».

Сам бюрократ, кн. В.Ф. Одоевский выразился не менее определенно:

«Неспособность администраторов — всегда имеет следствием гонение на литературу вообще, на журналы в особенности... Никогда не было такого гонения на литературу, как во время нелепой администрации Валуева».

И.С. Аксаков, со своей стороны, подтверждает:

«Никогда цензура не доходила до такого безумия, как теперь, при Валуеве. Она получила характер чисто инквизиционный».

Одним словом, оправдалось вполне мнение Н.И. Тургенева, доказывавшего «невозможность порядочного цензурного устава».

«Идея цензуры», — говорит он, — «неразлучна с идеею произвола. Цензура всегда будет и останется произволом».

А Некрасов писал:

Литераторы Три друга обнялись при встрече,
Входя в какой-то магазин.
— Теперь пойдут иные речи, —
Заметил весело один.
/117/
— Теперь нас ждут простор и слава, —
Другой восторженно сказал.
А третий посмотрел лукаво
И головою покачал.

Интересно, что цензурные «облегчения» и ухищрения нового устава были заимствованы, главным образом, из режима Наполеона III, из того режима, который Щедрин назвал «смешанной атмосферой бойни и дома терпимости»... /118/

4. Реакционный либерализм и либеральная реакционность

В каждую «бочку меда» реформ Александра II влило было по изрядной «ложке дегтя», а этого, конечно, вполне достаточно, чтобы совершенно испортить вкус самого лучшего меда.

4 апреля 1866 г., при выходе Александра из Летнего сада, раздался выстрел Каракозова.

Александр остался невредим. Царь получил первое предостережение, но не понял его и не сумел сделать из него надлежащие выводы.

Мы видели, как систематическая и злостная порча всех реформ, еще в их утробе и при первых их осуществлениях, раздражала даже таких более проницательных и более добросовестных бюрократов, как Никитенко или кн. Вяземский. Все искренние и серьезные поборники действительного обновления русской жизни чувствовали себя обманутыми, а более впечатлительные и восприимчивые не могли с этим обманом мириться.

Сам Александр не мог бы оправдаться неведением того, за что в него стрелял Каракозов.

В записках Д. Философова, напечатанных в «Русской старине» (дек. 1904 г.), Философов в очень подобострастном тоне рассказывает о своей аудиенции у царя 14 апреля 1866 г.

Александр II сказал:

«Я сажился в коляску и, обернувшись к толпе, надевал шинель, как вдруг слышу выстрел. Я никак /119/ не мог себе вообразить, что в меня стреляют. Повернувшись, я увидел, что какой-то человек падает, и подумал, что он себя застрелил. Я подошел, тут мне говорят, что было. Я обратился к нему и говорю: “Кто ты такой?” Первое его слово: “Я русский”, и потом, обратившись ко всем окружающим и показав на меня, он сказал: “Я в него стрелял потому, что он вас всех обманул”. — Я их обманул, — добавил царь...»

«Без лести преданные» историки и публицисты совершенно облыжно пытались изобразить выстрел Каракозова, как нечто чудовищное по своей неожиданности и немотивированности, между тем как это покушение было следствием сложившегося у наиболее пылкой молодежи убеждения, что никакие реформы сверху не способны существенно облегчить положение народа.

Поднялась такая волна холопства и низкопоклонства, что совершенно затуманила в глазах царя подлинный смысл покушения. Кое-где за границей покушение Каракозова даже понято было как месть царю за освобождение крестьян. По крайней мере в таком смысле это понято было в СевероАмериканских Соединенных Штатах, откуда послано было в Петербург чрезвычайное посольство для поздравления Александра с неудачей покушения, совершенного «врагом освобождения». Американцы всерьез вообразили, что Каракозов руководился такими же мотивами, как убийца Авраама Линкольна...

С этих собственно пор и начинается борьба Александра с революцией, борьба, стоившая стольких жертв лучшими русскими людьми и кончившаяся столь катастрофически для самого Александра.

Но и реформы шли своим путем, все так же причудливо переплетаясь с мерами самыми

реакционными.

После выстрела Каракозова начались усиленные репрессии по отношению к печати. Были закрыты журналы «Современник» и «Русское слово». Стали усиленно водворять полицейский порядок в университетах и урезывать права земства.

Губернаторы получили право отказывать в утверждении всякого избранного земским собранием лица, которое /120/ они признавали «неблагонадежным», причем установление признаков неблагонадежности предоставлено было всецело губернаторскому усмотрению.

Печатания отчетов о заседаниях земских, дворянских и других собраний требовали разрешения губернского начальства. Вообще все земские служащие поставлены в полную зависимость от администрации. Наряду с этим были ограничены права земства по организации народного образования, которое было поставлено в зависимость от казенных чиновников, инспекторов и директоров народных училищ.

О крестьянах, которые страдали и от малоземелья, и от безземелья (720 т. человек бывших дворовых не получили никаких наделов), и от непосильных платежей, совсем как будто забыли.

В то же время выработано было новое городское положение, правда, на цензовых началах, устранивших от городского самоуправления огромное большинство жителей.

Либеральный министр народного просвещения, Головнин, должен был уступить свое место обер-прокурору синода, Д.А. Толстому, который для обезвреживания образования провел новый гимназический устав 1871 г. Устав этот был таков, что запрещено было критиковать его в печати.

Вообще с этих пор во всем направлении внутренней политики, в особенности же в деле народного образования, начинает играть самую видную роль мрачная фигура этого закоснелого реакционера.

Д.А. Толстой пользовался полным и безусловным доверием царя: этот министр народного просвещения был в своем роде Аракчеевым второго Александра.

Новый гимназический устав должен был по мысли Толстого настоятельно одурманивать учеников тонкостями грамматического классицизма, чтобы они стали невосприимчивыми к крамоле. Изучение греческого и латинского языков введено было в ущерб всем прочим предметам и даже в ущерб родному языку.

Даже в Государственном Совете проект толстовского устава вызвал разногласие, и 29 членов против 19 высказались против него и, главное, против совершенного /121/ закрытия доступа в университеты для учеников реальных училищ.

Но Александр, питая к графу Толстому неограниченное доверие и вполне полагаясь на него — так свидетельствует его панегирист Татищев — повелел: «исполнить по мнению 19 членов, т.е. меньшинства».

В толстовских гимназиях водворился мертвящий дух казенной регламентации и бездушного формализма, дух, родственный духу аракчеевских военных поселений. Родители, домашний быт, все живое, органическое — все это считалось помехой казенному воспитанию. От учителей требовались прежде всего благонадежность, исполнительность, благоговейное отношение к форме, субординация, чинопочитание.

Молчалины от педагогики быстро приспособились и превратились в Передоновых, в типичных «людей в футлярах». Но учителей классических языков на Руси не хватало. И призваны были владеть гимназиями русскими чехи. Чехи эти обыкновенно русского языка не знали и не понимали. Они понимали только, что от них требуется педагогическая неукоснительность и беспощадная твердость.

И началась эпоха непристойных педагогических анекдотов.

Д.А. Толстого и его систему горячо поддерживали в газете «Московские ведомости» Катков и Леонтьев.

Газета свирепо боролась с департаментским либерализмом, обличала неблагонадежность «тайных советников», и когда за резкий тон получила предостережение, то отказалась его напечатать.

Катков пригрозил прекращением своей редакторской деятельности, а царь, будучи в то время в Москве, принял Каткова в личной аудиенции и, отечески пожурив его за резкость тона, отменил распоряжение министра о предостережении и ободрил Каткова, благословив его на дальнейшую оппозицию реформам. Царь не забыл, что во время усмирения Польши, вызвавшего некоторые международные осложнения, Катков проявил самый свирепый национализм.

После этого Катков обнаглел до того, что стал в положение полуказенного журнального опричника. В сказке /122/ Щедрина «Разговор свиньи с правдой» прекрасно изображены стиль и тон катковской, высочайше одобренной, публицистики.

А неотвратимая диалектика истории делала свое дело. Реформы продолжались.

Александр II, хотя и не обладал внешней военной выправкой своего родителя, все же был страстным любителем царственной игры в солдатики.

Захлебывающийся от восторга и умиления перед Александром II, историк его, Татищев, свидетельствует:

«В царственной деятельности Александра II, из всех отраслей государственного управления, развитие и совершенствование сухопутных и морских сил империи занимают едва ли не первое место. Верховный вождь относился к армии и флоту, как к любимым своим детищам; им посвящал он значительную часть своего времени, трудов и забот. Военные занятия и упражнения служили для него самого как бы отдыхом и развлечением. Воскресный развод в манеже зимою, летом, — лагерный сбор в Красном Селе, постоянные объезды войск, расположенных в разных местностях империи, учебные смотры, парады, маневры наполняли, так сказать, жизнь государя».

Несмотря на официальное миролюбие Александра II, за все почти время его царствования военные действия не прекращались. Николай никак не мог кончить завоевания Кавказа. Александру этого удалось достигнуть только в 1864 г.

На Дальнем Востоке также расширялась, и очень значительно, территория России, присоединены Амурская область, Уссурийский край, и Россия получила свободный выход к Тихому океану. Но тут расширение достигалось, главным образом, дипломатическим путем.

Иначе обстояло дело в Средней Азии. После завоевания Кавказа, продвижение на юг продолжалось, и мало помалу был завоеван и присоединен к России обширный край с государствами и городами Хивой и Бухарой, Ташкентом и др.

В завоеванный край устремились во множестве любители легкой наживы и вольного обращения с туземцами. Русская «культура» водворялась такими людьми /123/ и такими приемами, что слово «ташкентец» скоро стало нарицательным и означало проходимца, на все способного, но ни к чему непригодного, ни перед чем не останавливающегося.

Не нашедшие применения своей бездарности дворянские сынки, слишком явно проворовавшиеся полицейские в отставке, офицеры, вынужденные оставить службу за разные слишком неблагоприятные поступки, Чичиковы, потерпевшие по службе, Ноздревы, слишком явно изобличенные в шулерстве — все это жадной толпой устремлялось то в покоренную Польшу в качестве обрусителей, то в завоеванный Ташкент в качестве цивилизаторов. Все они получали казенные прогоны и прерогативы власти, ибо они демонстрировали свои «русские чувства», преданность всякому начальству и безоглядную готовность на все, что ни прикажут.

Кавказ и Средняя Азия поглощали огромные средства и, пока что, ничего не давали.

А во внешней политике пока все шло не очень гладко. Назревали осложнения на Ближнем

Востоке. Пруссия успела ограбить Данию, разбить Австрию и, наступив на горло побежденной наполеоновской Франции, превратиться в грозную, объединенную Германскую империю.

Эти войны внесли много нового и в организацию армии, и в дело вооружения и снаряжения. Россия во всем этом сильно отстала.

Среди пестрой компании людей, окружавших Александра, оказался и такой выдающийся организатор, как военный министр Д.А. Милютин.

Д.А. Милютин был счастливее своего брата Н.А. Ему удалось не только разработать новый устав о воинской повинности в том прогрессивном духе, каким он был проникнут, и отстоять его начала от реакционных поползновений таких мракобесов, как Д.А. Толстой, но ему удалось и самому ввести этот закон в жизнь.

Н.А. Милютин, как известно, уже через пять недель после 19-го февраля 1861 года должен был уйти, и дело проведения крестьянского освобождения попало в руки врагов реформы. /124/

Д.А. Милютин получил в январе 1874 года рескрипт, в котором царь предлагал министру приводить закон в исполнение «**в том же духе**, в каком он составлен».

Этот рескрипт особенно любопытен в том отношении, что доказывает, как ясно Александр отдавал себе отчет, в каком духе были проведены в жизнь другие реформы. Очевидно, что реформы искажались при сознательном попустительстве царя. /125/

5. Внешняя политика

От рек и озер к морям, от моря к океану, от океана к безграничному воздушному пространству, к тому пространству, которое, естественно, отрицает какие бы то ни было естественные границы междугосударственные и стихийно ведет к торжеству Интернационала.

В этом стихийном движении человеческой цивилизации Россия была страной самой отсталой.

До XVII века Россия пребывала еще в фазисе речной культуры, в том фазисе, из которого Европа вышла в самом начале своей истории. Жизненная мощь России сказалась в тех судорожных усилиях, которые она, начиная с Петра, являвшегося слишком ярким выразителем этой исторической судороги, делала для того, чтобы дорваться до моря и затем до океана.

«Кормилица Волга-матушка», многоводная Кама, Тихий Дон, красавец Днепр — перестали соответствовать росту России. Особенно по мере того, как все увеличивались сношения со странами заморскими. Надо было и России стать страной приморской. Отсюда и неудержимая тяга к Балтийскому морю, и передвижение столицы с берегов Москвы-реки на устье Невы, к Финскому заливу. Отсюда и вся ближне-восточная, а затем и дальне-восточная политика.

Жертвами этой стихийной тяги огромного русского материка к морю поочередно становились эсты, ливонцы, латыши, финны, кавказские горцы, крымские татары, турки, и, конечно, независимость всех этих новых государств, опоясавших ныне Россию со стороны /126/ Балтийского моря, а отчасти и Черного, не имела бы ни малейших шансов прочности и долговечности, если бы в истории человечества не совершился этот переход от морского и океанического периода культуры к воздушному и параллельно с этим от национализма к интернационализму. Только по исторической слепоте, да и по новости и непривычности своего положения, все эти новые маленькие государства думают обеспечить свое существование развитием националистического шовинизма, военными соглашениями и т.п.

Монархическая реставрация в России, которой новые «соседи» в значительной мере со-слепа сочувствуют, очень скоро положила бы конец их непрочной независимости. Только торжество идей русской революции, торжество идей Интернационала может их спасти. Хозяйство, а следовательно, и мощь России неизбежно восстановятся, если не через десять, то через двадцать, через тридцать, сорок лет, и все эти карточные домики политических новообразований рассыпались бы под стихийным ее напором. Одним словом, история неизбежно повторилась бы, если не восторжествует идея Интернационала и не потеряют свое значение **политические**

границы государств.

И все это произошло бы без всякого злого умысла со стороны России. Россия-матушка, единственно по своему росту и связанной с ним стихийной прожорливости, слопала без разбора и эстов, и латышей, и финнов, и татар, и сибирских инородцев, и кавказских горцев и бессарабских молдаван. Попадались по пути и такие крупные и неудобоваримые куски, как Польша.

Александр II был миролюбив и войны боялся. Доставшаяся ему в наследие Крымская война и затем вынужденно заключенный им Парижский мир оставили самое тяжелое воспоминание.

В 1863 году, председательствуя на одном совещании своих сановников по вопросам внешней политики, Александр сказал:

«Семь лет тому назад я совершил за этим столом один поступок, который я могу определить, так как совершил его я. Я подписал Парижский договор, и это было трусостью, и я этого не повторю».
/127/

В этом заявлении царя были две ошибки: и относительно прошлого, и относительно будущего.

Парижский договор и унижение России были следствием не трусости Александра, а трусости Николая, который так дрожал за свое самодержавие, что этому страху всецело подчинил свою внешнюю и свою внутреннюю политику. А в будущем Александру в 1878 г., после победоносной войны, пришлось подчиниться судилищу Берлинского конгресса, едва ли не более унижительному для России, чем Парижский трактат.

Россия в результате внешней политики Александра II оказалась столь же изолированной в Европе, как к концу царствования Николая I. В 1863 году Александр II гордо пренебрег представлениями Англии и Франции в защиту Польши. Австрия тогда держала себя двусмысленно, а Пруссия, в интересах собственной антипольской политики, была на стороне России. За это она получила возможность, при дружелюбном попустительстве России, ограбить Данию, расправиться с Австрией, разгромить Францию и собрать в один бронированный кулак все германские государства.

Когда же Россия после страшных жертв почти достигла своих заветных стремлений на Ближнем Востоке, ей «Европа» сказала: «Руки прочь!», при явной поддержке Пруссии, бывшей в тайной ссачке с Австрией.

Александр II, который, по примеру предков, в политике руководился родственными связями и политической благонадежностью, в духе блаженной памяти Священного союза, направлял свою внешнюю политику по прусскому фарватеру, а его закадычный друг и дядя, повысившийся из прусского короля в чин германского императора, за его спиной тайком заключил с Австрией союз, направленный специально против России. Правда, Вильгельм проделал это предательство с «угрызениями своей королевской совести» и со слезами на глазах, лишь под настойчивым давлением Бисмарка, но России от этого было не легче, что она и почувствовала в 1878 году.

Бисмарк же сводил счеты с Горчаковым за 1875 г., когда русская дипломатия не выказала обычной готовности оставаться безмолвной свидетельницей вновь затевавшегося /128/ разгрома не добитой в 1871 г. Франции.

Все это проделывалось под внешностью неразрывной дружбы, как между Вильгельмом и Александром, так и между Бисмарком и Горчаковым.

Горчаков даже оставался в наивной уверенности, что Бисмарк, этот грубый и циничный реальный политик, находится под обаянием и руководством тонкого дипломатического искусства, специалистом которого Горчаков считал именно себя. Свои тонко отточенные, великолепным условным стилем изложенные ноты Горчаков, этот «нарцисс своей чернильницы», считал самым важным и серьезным делом.

Впрочем, Александр уже тогда разочаровался в Горчакове и, заглаживая перед Вильгельмом свой грех вмешательства в прусские вожделения, сваливал все на Горчакова, на старческое тщеславие

дипломата, который «пережил свою полезность».

Войне 1877-1878 гг. предшествовали восстание в Герцеговине и война сербо-черногорская против Турции, вызвавшие известное славянофильское движение в России.

Внутреннее положение все больше ухудшалось. В стране не было довольных. Крестьяне изнемогали под бременем непосильных платежей. Дворянское оскудение усиливалось неумолимо. Сторонники реформ были горько разочарованы. Не только не делалось никаких шагов к «увенчанию знания», но и осуществившиеся реформы все больше портились. Противники реформ находили, что темп постепенного упразднения реформ слишком медлен и нерешителен, а тут еще возник на Руси класс фабричных рабочих, который не имел решительно никаких оснований быть чем-нибудь довольным. А из толстовских классических гимназий совершенно, казалось бы, стерилизованных и в конец обеспокоенных от какого бы то ни было движения идей, выходила и очень недовольная, и очень революционно настроенная молодежь.

Из гимназий выносилась ненависть не только к тонкостям латинской и греческой грамматик, к аористам /129/ и экстерноралиям, к бездушной казенной педагогике, но и ко всему существующему строю.

При таком скверном внутреннем самочувствии, лучшим отвлекающим издавна считалась внешняя агрессивность, но Александр II был чувствителен и слезоточив. Солдат он очень любил, но только на парадах и разводах.

Но при дворе была группа, стоявшая за войну, и во главе этой группы был наследник Александр Александрович, почему-то прозванный впоследствии «Миротворцем». И что еще удивительнее, поднялось шумное движение за войну.

Чичиковы возмечтали о поставках. Репетиловы шумели, Загорецкие собирали пожертвования, Ноздревы производили патриотические скандалы, и никто не хотел слушать о том, что русскому мужику и русскому рабочему живется не лучше, а местами и хуже, чем сербу и вообще «брату-славянину» под властью турок. Однако тех, которые заикались об освобождении русского мужика или русского рабочего, отправляли пасти макаровых телят, гноили в тюрьмах и ссылали во всякие гиблые места.

Лев Толстой, печатавший тогда в катковском «Русском вестнике» «Анну Каренину», в восьмой, заключительной части романа очень отрицательно отнесся и к добровольческому движению и ко всей славянофильской шумихе. Катков отказался от напечатания этого окончания романа.

Александр II, который упорно затыкал уши и круто расправлялся с теми, кто подымал голос за освобождение русских братьев, вдруг услышал «голос земли русской» в репетиловском шуме за «братьев-славян». А Бисмарк очень настойчиво с своей стороны втравливал Россию в войну, заранее предвкушая небезвыгодную роль маклера. Он с присущей ему циничной откровенностью мотивировал необходимость войны соображениями внутренней политики и внушал Горчакову: «России нужно несколько бунчуков турецких пашей и победная пальба в Москве. По-моему, это необходимо». /130/

Военная реформа Милютина создала новую армию, и эта армия показала чудеса беззаветной храбрости и выносливости.

И под Плевной, и на Шипке, и на зимнем переходе через обледенелые снеговые вершины Балкан люди беззаветно умирали.

Но и тут эти люди были плохо кормлены, плохо обуты и плохо вооружены, даже хуже турок.

Бумажные подметки, вороватое интендантство, потворствующее подрядчикам, червивая солонина и тухлая капуста оказались столь же незыблемыми, как и само самодержавие. Воровали и тут неумолимо, и во главе всех воров был сам главнокомандующий Николай Николаевич старший.

У царя хватило благоразумия не брать на себя командование, но он переселился на театр военных действий, а там охрана главной квартиры представляла серьезную и хлопотливую заботу,

отвлекая часто войсковые части, нужные для более прямых целей.

Нетрудно представить, какая, при наших порядках, свита окружала царя, сколько при царской ставке толкалось всяких флигель и генерал-адъютантов, сколько всяких церемониймейстеров, гоф-курьеров и фурыеров и сколько при всей этой челяди было своей челяди, и как трудно было содержать всю эту прожорливую и требовательную ораву тунеядцев.

Александр называл себя «братом милосердия», неизменно посещал лазареты и проливал обильные слезы при виде раненых. Эта плаксивость чувствительного царя должна была еще на этом свете вознаграждать солдат за все их лишения.

Впрочем, у Гаршина очень красиво и трогательно изображены и слезы, капающие из глаз царя, и гипноз солдатской массы.

Хотя русские войска подошли к самому Константинополю, но туда их, как известно, не пустили. Александру же пришлось вводить в Болгарии конституцию, до какой, по его мнению, никак не могла дорасти Россия.

Тамбовские, костромские и проч. и проч. мужики, которых погнали через Дунай, заставили зимою лезть /131/ через Балканы, таская на себе артиллерию, конституцией этой интересовались очень мало, но то, как живет болгарский мужик, их очень интересовало. И не без удивления увидели они, что болгарский мужик жил лучше русского, богаче и сытнее. Не могли не заметить также русские мужики, что особой благодарности болгарские мужики к русским освободителям не чувствуют, что радуются только попы, а простой народ норовит только, как бы припасы получше припрятать от освободителей.

Берлинский конгресс пробил, наконец, брешь в традиционной семейной и наследственной дружбе Романовых с Гогенцоллернами и положил начало тому франко-русскому союзу, который вначале приучил царские уши к звукам Марсельезы, а в конечном результате погубил и Гогенцоллернов, и Романовых. /132/

6. Обманутые ожидания

Александр I обманул ожидания, и члены тайных обществ серьезно дебатировали вопрос о цареубийстве. Но Александр Павлович успел умереть раньше, чем будущие декабристы успели что-нибудь предпринять.

На Сенатской площади некоторые декабристы имели возможность убить Николая. Якубович, стоявший близко от Николая с заряженным пистолетом, затем самому Николаю высказал недоумение, почему у него не хватило решимости убить его.

Николай твердо и решительно вел свою линию, и хотя это была линия смертельного перепуга, Николай сохранил еще такую бравую и самоуверенную осанку, что все поверили в незыблемость его самодержавия.

Александр II обманул ожидания, и ему нечем было оправдать этого. Парижский мир, под которым ему пришлось подписаться, ведь совсем не был похож на триумфальное вступление Александра I в Париж во главе свиты из немецких государей, которых он удерживал от грабежей.

Покорение Кавказа было, конечно, не то, а расправа с Польшей, несмотря на твердый отпор, данный попыткам иностранного вмешательства, тоже была совсем не то. Но и это на некоторое время поддержало престиж самодержавия. Однако надолго этого впечатления не хватило: оно скоро выдохлось.

Начав реформы, Александр II вызвал того духа времени, которого так боялся во всю свою жизнь Николай и которого скоро испугался и Александр Николаевич. /133/ Но загнать этого духа обратно в николаевский каземат уже не было возможности.

При Петре, при Екатерине уже стали появляться отдельные лица, как Прокопович, как Посошков,

затем как Ломоносов, Новиков, Радищев, которые символизировали новые культурные достижения.

При Александре I таких уже стало много. Николай обезглавил эту новую русскую интеллигенцию, кого повесил, кого старался заморить в Сибири. И всю Россию старался подморозить, чтобы не пускала сильных ростков. Но Россия и под снежным саваном николаевского самодержавия росла неукротимо.

При Петре I, при Екатерине II, отчасти при Александре I монарх и двор еще стояли впереди русского общества и по образованию, и по вкусам.

Николай в своем самодержавном футляре и не заметил, как он отстал, насколько его поколение, люди тридцатых и сороковых годов, стало образованнее и культурнее и его самого, и окружающих его царедворцев.

Александр Николаевич еще стоял впереди кастового дворянства, но уже плелся в хвосте интеллигенции 60-х годов.

Самодержавие при Александре II уже окончательно потеряло свое культурное право на существование, свое моральное оправдание.

Самые умеренные цензовые круги русского общества понимали, что без установления в России правового порядка, без так называемого «увенчания здания» России не обойтись. Но все такие заявления, даже не говорившие о конституции, а только намекавшие на расширение самоуправления, на обуздание административного усмотрения и произвола, встречали суровый отпор со стороны царя как «бессмысленные мечтания» (Николай II даже эту терминологию не сам придумал).

В январе 1865 г. московское дворянство большинством 270 против 36 голосов приняло текст очень умеренного адреса, в котором просило «довершить государственное здание созванием общего собрания выборных людей от земли русской для обсуждения нужд, общих всему государству».

/134/

Было, конечно, отказано, а спустя некоторое время царь откровенно высказался одному из предводителей дворянства, Голохвастову, отстаивавшему в дворянском собрании адрес:

«— Что значила вся эта выходка? — Чего вы хотели? Конституционного образа правления?»

Голохвастов подтвердил.

Александр продолжал:

«— И теперь вы, конечно, уверены, что я из мелочного тщеславия не хочу поступиться своими правами. Я даю тебе слово, что сейчас, на этом столе, я готов подписать какую угодно конституцию, если бы был убежден, что это полезно для России. Но я знаю, что, сделай я это сегодня, завтра Россия распадется на куски. А ведь этого и вы не хотите».

Парламентаризм к тому времени уже пережил свой медовый месяц и только в Англии еще вызывал к себе уважение. В остальной Европе уже обозначались черты парламентаризма как «величайшей лжи нашего времени», по позднейшему определению Победоносцева.

Александр читал «Колокол» и, вероятно, знал отношение Герцена к европейскому буржуазному либерализму.

Ну, а России не дворянской, выросшей разночинной России, как и России трудовой царь не знал и знать не мог. А о реформах более глубоких, чем конституционализм, о коренных реформах социальных царь и по воспитанию своему, и по образованию, и по положению, и по всей психике своей, конечно, и думать не мог.

И не было царю другого исхода, как фатально катиться по наклонной плоскости реакции. Это, по

крайней мере, было привычно для всех его окружающих, для этого была готовая к услугам бюрократия с выработанными приемами и установившимися навыками.

Начатые реформы диалектически вели к «увенчанию здания», т.е. конституции. Но конституции на Западе уже успели принести свои разочарования: народные массы не стали от них ни довольнее, ни счастливее. Лучшие умы, такие люди, как Герцен, уже не верили в единую спасающую истину парламентаризма. /135/

На Руси славянофилы тоже были против конституции по европейскому образцу, националисты во главе с влиятельными Катковыми — еще пуще.

А идя против конституционных вожелений, царь неизбежно попал в лапы самой черной и беззастенчивой реакции.

У Александра II никогда не хватало искренности и смелости для действительного освобождения печати.

Цензура в том или ином виде была тем мертвым черепом, в котором гнездилась смертельно ужалившая его змея.

При разработке главных реформ — крестьянской и земской — печать была стеснена цензурой и не могла своим влиянием предотвратить гибельные ошибки.

А после цензурной «реформы» 1865 г. стало по существу не лучше, а хуже. Позаимствованная Валуевым у Наполеона III система карательной цензуры была не лучше цензуры предварительной, а только подлее.

Все органы печати доказывали правительству Александра II **опасность** стеснения печати, но этому не поверили.

Многочисленные покушения много раз вразумляли в этом смысле Александра, но не вразумили, и даже бомбы, растерзавшие царя на набережной Екатерининского канала, не вразумили его преемников.

С одной стороны свирепствовали жандармы и военные суды, с другой стороны — отчаяние и безграничное самопожертвование.

Хранение наборного шрифта, ручного печатного станка, нескольких брошюр или прокламаций каралось так же беспощадно, как хранение динамита. «Крамола» естественно перешла к динамиту.

И последние годы царствования Александра прошли в этой истребительной борьбе изжившего себя царизма с полной юных сил революцией.

Это была беспримерная борьба.

Нигде революционеры не обнаружили больше героизма и самоотвержения, нигде ни один монарх не метался целые годы, как затравленный зверь. Царь ничего не понимал. Он поверил лукавой камарилье, что революция — это нечто случайное, наносное, что /137/ она объясняется недостаточной бдительностью полиции. Он не понял органических корней революции, которую он считал только «крамолрой».

Для революционеров в напряжении этой страшной борьбы царь получил какие-то апокалипсические очертания. Это был «зверь из бездны». Гаршинский «Красный Цветок», в котором сосредоточилось все зло мира. Надо вырвать, растоптать этот красный цветок — и зло исчезнет.

Никаких возможностей открытой борьбы не было. Борьба шла глухая, подпольная, рылись

подкопы и снаряжались мины, падали жертвы.

Когда положение стало совершенно невыносимо, Александр утвердил лорисмеликовскую «диктатуру сердца» и стал склоняться на уступки, даже на подобие конституции.

Но в конституцию Александр не верил, все делалось робко, растерянно и, по обыкновению, слишком поздно. /137/

7. Катастрофа

В 1880 году Александр праздновал двадцатипяти-летие своего царствования.

Нерадостно было это празднование и нерадостны, хотя и значительны, были итоги.

Крестьянам Александр Николаевич хотел дать и свободу, и землю. Но вышло, что крестьяне получили и мало земли, и мало свободы, но зато очень много обязанностей и платежей.

Суд он обещал водворить «скорый, правый, милостивый и равный для всех», кроме писателей и «политических», т.е. кроме тех случаев, в которых царь считал себя заинтересованной стороной.

Он дал бы даже свободу печати, если бы у него была уверенность, что печать этой свободой не воспользуется.

Когда печать, которой царь даровал карательную цензуру вместо предварительной, делала попытки подымать свой голос, Александр так же искренно возмущался, как возмущился бы человек, который, подписавшись под письмом обычным «ваш покорный слуга» или «готовый к услугам», узнал, что от него действительно стали требовать услуг.

Россия преобразовывалась стихийно. Выросло малоземелье и безземелье крестьянское, оскудело дворянство. Натуральное хозяйство все более вытеснялось денежным и капиталистическим.

Развивалась промышленность, образовался рабочий и интеллигентский пролетариат, возникли исторические /138/ предпосылки социализма, широко размахнулось грюндерство, «чумазый» и «аршинник» превращался в буржуа, но Александр во всем этом плохо разбирался. 14 рангов бюрократии и пышные, хотя и обветшалые, декорации самодержавия закрывали от него живую жизнь. Катков ослеплял его своею нагло-повелительною и требовательною лестью, низкопоклонною дерзостью холопа, сознающего свое влияние на барина.

Валуев усыплял его угодливостью, безграничной приспособленностью ко всему и всегдашнюю готовностью на все.

Дмитрий Толстой импонировал царю твердой выдержкой своего мракобесия.

Филарет московский очень елейно приспособлял и Христа, и христианство, и православие к небесному цветку свято-жандармской идеологии.

Чернышевский пребывал в сибирской тюрьме за то, в чем ни один европейский юрист никак не мог бы отыскать состава преступления.

Когда петербургский градоначальник Трепов подверг гнусному телесному наказанию политического заключенного, Александр отнесся к этому со стоическим спокойствием, и только выстрел Веры Засулич встревожил царя, и он поспешил с визитом к своему раненому другу, и конечно, прослезился. Когда присяжные вынесли Вере Засулич оправдательный приговор, Александр и тут еще не догадался, в чем дело, и только как дитя, сердящееся на пол, о который оно ушиблось, рассердился на суд присяжных и окончательно устроил для всех политических суд скорый, неправый и немилостивый, и явно лицеприятный

После долгого промежутка, через 12 лет после Каракозова, в Одессе расстреляли Ковалевского, а вскоре после этого в той же Одессе повесили Минакова, Чубарова и Дмитрия Лизогуба, в

поведении которого ни один культурный судья, конечно, не нашел бы состава преступления.

А там уж пошла та война, которая кончилась для Александра 1-го марта 1881 г. и стоила слишком больших жертв, потому что в этой борьбе погибло много людей, которые были лучше Александра, /139/ и жизни которых были нужнее и ценнее давно истощенной жизни.

Убийство Александра II вызвало вопли негодования.

Это было первое цареубийство, совершенное не по высочайшему повелению и не по наряду из гвардейской казармы. И совершено было оно не людьми привилегированными, которые на цареубийстве строили свои карьеры, а людьми, которые сознательно и заведомо шли на смерть. /140/

Александр III

1. Утверждение самодержавия

Он не был рожден для царствования. Он был вторым сыном Александра II, но, когда наследник Николай Александрович умер в Ницце в 1865 г., Александр Александрович, которому тогда было двадцать лет, унаследовал и право на всероссийский престол, и право на невесту покойного брата, датскую принцессу Дагмару.

Александр III не получил и того, весьма сокращенного образования, которое полагается наследнику престола. Он остался малограмотным.

В 1866 году, имея 21 год от роду и уже собираясь жениться, он писал по-русски так, что даже Кутейкин от Митрофанушки требовал бы большего.

Заносил в свою записную книжку свои впечатления после покушения Каракозова, Александр Александрович пишет, изображая встречу отца в Зимнем дворце:

«Прием был великолепный, ура сильнейший».

«Потом призвали мужика, который спас. Папа его поцеловал, и сделал его дворянином. Опять страшнейший ура».

Здесь у этого взрослого мужчины интересен не только этот «сильнейший ура», но и самый стиль гимназиста младших классов.

Говоря о молебне, который был отслужен «самим митрополитом» в Летнем саду, Александр отмечает:

«где стреляли **на папа**».

Отмечая посещение на радостях французской оперетки «La belle Hélène», наследник заносит в свой дневник: /143/

«Было очень весело и музыка **примилая** Оффенбаха».

Во время молебствия — повествует тот же дневник:

«собор **пыл** полон народу и кругом можно было тоже насилу проехать».

Прошло еще 13 лет, Александру Александровичу было уже 34 года, он был уже отцом семейства, имея четырех детей («...кому ума не доставало»), но русской грамоты он все-таки не одолел.

По поводу нового покушения Соловьева наследник заносит в свой дневник за 1879 г., что он,

узнав о покушении, «поскакал в Зимний дворец обнять и поздравить **папа от чудесного спасения**».

И затем сообщает о чувствах благодарности к господу «за чудесное спасение дорогого папа от всего нашего сердца».

Такова грамотность и таков стиль самодержавнейшего Александра III.

Александр III был после Петра самой крупной фигурой на престоле русских царей, с той, впрочем, разницей, что Петра называли еще Великим, Александр же был только большой.

Из всех неограниченных русских самодержцев XIX столетия Александр III был самым ограниченным, хотя никаких решительно «конституций» не признавал.

Александр III был ограничен не парламентом каким-нибудь, не волею народа, а «божией милостью».

Об этом свидетельствует не только беспомощный лепет его дневников.

Но Александр III имел и немаловажные личные достоинства.

Он имел преимущество, часто присущее людям тупым и ограниченным: он не знал сомнений. Решительно ничего гамлетовского не было в нем. У него была воля, был характер, была полная определенность в мыслях, насколько они у него были, в чувствах и в поступках.

Когда он посылал людей на виселицу, он при этом слез не проливал, хотя он не был и злым человеком. Вообще, в нем не было ничего патологического. /144/

Александр III был здоров, как Тарас Скотинин, ломал подковы, сгибал серебряный рубль и мог бы, как фонвизинский герой, прошибить лбом ворота.

Кстати, лоб у него был высокий, но от лысины.

Трудно сказать, насколько неожиданно было для него вступление на престол. Александру II было только 63 года, и он был здоров. Но война его с «крамолой» приняла такие острые и беспощадные формы, что катастрофы можно было ждать со дня на день, с часу на час.

Все знали, что новый царь неукоснительный враг всяких «конституций», а также и всего того, что было в реформах Александра II от либерализма. Все ждали от него соответственных поступков, но тут сказала спокойная уравновешенность его характера.

После катастрофы 1-го марта 1881 г. естественно возникал вопрос:

— Что же дальше?

Неужели в этих жертвах иссякли силы революции?

Александр ждал. Он выслушивал робкие попытки Лорис-Меликова к созданию чего-то вроде законосовещательного органа, даже положил на проекте Лорис-меликовского конституционного суррогата одобрительную резолюцию, выслушивал либеральные речи Константина Николаевича, Милютина, Абазы, Валуева, выслушивал и речи ярых противников каких бы то ни было либеральных уступок, и ждал. Наконец, он убедился, что революционеры обессилены и что никакого организованного выступления либералов опасаться не приходится, — и выпустил известный манифест 29 апреля о незыблемости самодержавия.

Лорис-Меликов, Абаза и Милютин ушли, Константин Николаевич устранился от двора.

Манифест 29 апреля был составлен Победоносцевым и Катковым, которые и становятся вдохновителями нового царствования. Впрочем, эта роль принадлежала Победоносцеву в гораздо

большей степени, чем Каткову, не только потому, что и как личность Победоносцев был крупнее, но и потому, что Катков умер в 1887 году, а Победоносцев действовал во все время царствования Александра III, пережил его и после его /145/ смерти еще более десяти лет был одной из самых ярких политических фигур царствования Николая II.

У Александра III было не мало достоинств, между прочим, и то, что он, не имея своего, не был ревнив к чужому уму. А Победоносцев был одним из умнейших наших бюрократов.

Под самодержавные вождения царя Победоносцев мог лучше всякого другого подвести идеологическое основание.

Острый аналитический ум Победоносцева был исключительно силен в деле отрицания.

В книге, выпущенной Победоносцевым анонимно, в «Московском сборнике», заключается как бы общая сводка всего того, что отрицает бывший обер-прокурор синода.

Победоносцев отрицает: отделение церкви от государства, свободный брак, конституционализм, идею народоправства и парламентаризм или «великую ложь нашего времени».

Затем отрицает суд присяжных, свободу брака, периодическую печать, свободу совести, выборное начало, логику, право разума.

Во что же верит Победоносцев?

Он верит в то, что существует, насколько это существующее не испорчено вредными «новшествами». Он настолько умен, что не поет никаких дифирамбов существующему. Он знает, насколько оно плохо и несовершенно, но он полагает, что всякие перемены в сторону новшеств не улучшают, а ухудшают существующее. Поэтому, он предпочитает, чтобы все осталось, как оно есть.

Победоносцев не одинок в этой идеологии и даже не оригинален. Раньше и с бóльшим литературным блеском проводил эти идеи самый последовательный, самый искренний и серьезный из апологетов реакции, Константин Леонтьев.

Но разница в том, что Константин Леонтьев, врач по образованию, умерший монахом, из-за своих убеждений пожертвовал служебной карьерой (дипломатической), стал вразрез со всем современным ему течением жизни и никогда не добивался практической возможности /146/ перекрашивать жизнь по своему византийско-аскетическому идеалу.

А Константин Победоносцев далеко не обладал тем пафосом веры, по которому строил свою жизнь Леонтьев, четверть века стоял у самых источников власти и топтал все живые ростки жизни, ничем лично для нее не жертвуя и пользуясь всеми прерогативами и благами.

В реакционности Леонтьева было нечто от духовной аристократичности Ницше, а в белом нигилизме Победоносцева было нечто от полицейского участка и застенка инквизиции.

Алеша Карамазов, выслушав легенду «о великом инквизиторе», рассказанную Иваном Карамазовым, восклицает:

— Твой инквизитор в бога не верует, вот и весь его секрет.

В этом же был весь секрет и нашего обер-прокурора «священного» синода.

Победоносцев не только в бога не верил, он ни во что не верил. Этот столп казенной православной церкви, если б встретился с Иисусом из Назарета, вновь пришедшим на землю, уж, конечно, не выпустил бы его на «темные стогны града», а поспешил бы отправить его в участок, ибо на костер уж не отправляли людей даже при Александре III, а то запер бы он «неудобного революционера» в какую-нибудь из самых мрачных и самых надежных и безнадежных монастырских темниц.

Что же, однако, делать с Россией, которая, как-никак, а все же неудержимо и стихийно растет и в этом своем росте никак не укладывается в казенные колодки «православия, самодержавия и народности».

В этом единомысленны и эстетически византийствующий Леонтьев, и бюрократически кощунствующий Победоносцев.

Россию надо «подморозить».

Надо остановить ее рост, убить в ней жизнь и движение, иначе эта презренная Россия, как только подтаит, начнет разлагаться. /147/

Никто так безнадежно и беспросветно не презирал Россию, как Победоносцев. Впрочем, он всех и все презирал и, конечно, имел к этому достаточно оснований.

Благодаря своему служебному положению, он видел столько низкопоклонства, столько предательства, холопства, продажности, вообще столько низости и гнусности вокруг идола власти, что не мог не вынести глубокого презрения к людям. Он также презирал и себя, и его собственная опустошенная душа дала бы ему для этого достаточно оснований, если бы в его собственных глазах его несколько не возвышала над окружающими его это самое его презрение к ним.

Когда кто-то выразил удивление, как он может терпеть около себя такого несомненно подлого субъекта, как его товарищ Саблер, Победоносцев спокойно возразил:

— А кто нынче не подлец?

И продолжал держать около себя Саблера.

Но для Александра III этот старый циник был сущим кладом.

Победоносцев импонировал ему не только своею образованностью и умом. Победоносцев действовал на него также неотразимой убедительностью своей твердой уверенности в единую истину застоя.

Парламентаризм ведь казался «великою ложью нашего времени» не одному Победоносцеву. Многие лучшие умы давно уже разоблачили эту ложь, делая из этого совершенно другие выводы, но до этих тонкостей Александр, конечно, не доходил. Для него достаточно, было, что это шло навстречу его заветнейшему стремлению сохранить в неприкосновенности свое самодержавие. Что в самодержавии была еще большая ложь, чем в буржуазном парламентаризме, этого, конечно, Победоносцев ему не говорил, а сам он этого домыслить не был в состоянии.

Западная Европа, родина конституционализма, капитализма и социализма, помимо блеска внешней культуры, не представляла ничего ни утешительного, ни соблазнительного.

На торжествующее мещанство уже надвигалось предчувствие грядущей катастрофы. Экономическое соперничество /148/ в политике международной, классовая борьба в политике внутренней принимали все более тревожные размеры. Не призван ли русский царизм уберечь Россию, да минет ее чаша сия? Нет ли в идее царя, милостию божией, в идее единой, неограниченной власти, стоящей выше частных интересов, выше всех людских разъединений, спасения от бед, грозящих Западу?

Отрицания Победоносцева, отчасти совпадавшие с мечтами старого славянофильства, были так соблазнительны...

Представителем этих отголосков славянофильства явился сменивший Лорис Меликова на посту министра внутренних дел гр. Игнатьев, бывший константинопольский посол, которого турки называли «отец лжи».

При нем кахановская комиссия пыталась как-нибудь завершить реформу местного самоуправления

Александра II.

Призывались даже сведущие люди и даже задумывалось нечто вроде совещательного земского собора, но из этой затеи, как известно, ничего не вышло.

Министром Игнатьев пробыл всего один год уже в мае 1882 года был заменен типичным представителем «твердой власти» гр. Д.А. Толстым, от которого уже никаких мечтаний ожидать не приходилось.

Впрочем, за кратковременное пребывание свое министром внутренних дел и гр. Игнатьев не мало успел.

Предположения, унаследованные от предыдущего царствования, об уменьшении выкупных платежей — свелись к пустякам, печать была сильно ущемлена, изданы были знаменитые «временные правила» об усиленной и чрезвычайной охранах, правила, пережившие и Игнатьева, и Александра III, наконец, изданы были также «временные правила» об евреях, сильно ущемившие их и без того ущемленные права.

Носились упорные слухи, что эти «правила» изданы были потому, что евреи с Игнатьевым не сошлись в цене, т.е. в сумме взятки, которая с них требовалась за издание этих правил.

Говорили также, что эти правила, запрещавшие, между прочим, лицам иудейского вероисповедания арендовать /149/ земли и вообще недвижимости в сельских местностях, нисколько не помешали самому Игнатьеву, который до издания этого распоряжения поспешил сдать евреям в долгосрочную аренду некоторые свои имения и угодья.

Когда Игнатьева на посту министра внутренних дел сменил Толстой, умалился и этот единственный в России суррогат конституции — взятка, так как Толстой, будучи твердокаменнее и неукоснительнее Игнатьева, даже взятки не брал.

Со вступлением в министерство Толстого отходит в историю недолгий период некоторых колебаний в политике Александра III, и царствование его получает присущую ему до конца вполне определенную окраску.

Этот щедринский граф Твердо-он-то вполне олицетворял победоносцевский идеал царского министра. Он решительно ни над чем не задумывался. Для него все было ясно и просто. Для него твердая власть, принцип «тащить и не пущать» — были не только средством, но и самоцелью.

Толстой принадлежал к тому изображенному Щедриным типу «идиота», который действует с какой-то страшной, почти машинной автоматичностью.

На посту министра народного просвещения Толстой обратил все гимназии, все казенные школы в какие-то учебные дисциплинарные батальоны, в какие-то мертвые дома, в которых мертвые люди заколачивали, точно гвозди в гробовые крышки, мертвые правила мертвых языков в черепа учеников.

На посту министра внутренних дел поприще стало гораздо шире. Здесь уже можно попытаться стерилизовать, обесплодить, «подморозить» всю Россию. /150/

2. Внутренняя политика

Социальная структура России Александру III представлялась еще в формах сословного расслоения. Он естественно не замечал, что сословия давно перемешались, что вся эта сословная структура поддерживается лишь искусственно, отливаясь в устарелые юридические формы отсталого законодательства устарелого государственного строя.

Коронованный Тарас Скотинин стал искать опоры в исторических недорослях дворянского сословия.

Все, что было здорового, жизнеспособного в дворянстве, давно вырвалось из рамок сословных интересов и сословного бытия.

Остались и крепко держались за старое либо Митрофанушки, которые все мечтали куда-то доехать в «карете прошлого», причем, куда ехать, они точно не знали, ведь географии они не учились: «все равно извозчик довезет»; истории они не понимали, ибо искренно принимали за историю рассказы старой нянюшки, арифметики не одолели, да и не считали нужным, все равно в Земельном банке расчет за них сделают.

Да еще крепко держались за сословные рамки те дворянские последыши, которые прошли полный курс наук у Донона и Контана и процесс исторический простодушно смешивали с процессом пищеварения.

И недоросли, и последыши дворянские шли единым фронтом и общая платформа была у них — непомерный, ненасытный аппетит. /151/

Как ни велика Россия, им все казалось, что ее мало для пополнения их дворянских утроб, и они все поглядывали, где что плохо лежит и нельзя ли кого-нибудь или что-нибудь еще слопать. Отсюда необычайная агрессивность так называемой внешней политики.

Нельзя ли облагодетельствовать предварительной цензурой, положением об усиленной охране и еврейскими погромами, например, «родственную и единоверную Галицию»? Нельзя ли и там воспретить употребление малорусского языка и празднование памяти Шевченко?

Отобрать церковные имущества, например, удалось только у русских армян, а сколько еще их в Турецкой Армении. Нельзя ли и их включить в пределы досягаемости?

Русских мужиков довести до нищеты удалось вполне, а ведь есть еще на свете мужики турецкие, среднеазиатские, персидские, корейские, маньчжурские. Нельзя ли и их стричь во славу русского «первенствующего сословия»?

Для всех этих вождений в области политики внутренней и внешней создана была идеология «истинно русского», т.е. преимущественно великорусского «патриотизма», и понятие это до того было захватано грязными руками, что люди брезгливые прикасались к нему не иначе, как заворачивая его в кавычки.

Вся политика Александра III, и внешняя, и, в особенности, внутренняя, в одном отношении очень выгодно отличается от политики других Александров, первого и второго. Она была чужда колебаний и противоречий, она не знала никаких зигзагов и поворотов, не было в этой политике ничего неопределенного и неожиданного. Она была, эта политика, вполне последовательна, выдержанна и цельна. В этом отношении она ближе всего по своему стилю подходила к политике Николая I. Но так как эти две однотипные политики отделяет полвека, а за это полу столетие Россия продолжала стихийно расти, то политика Александра III отражалась на живом организме страны еще болезненнее, еще мучительнее. /152/

Решительно ничего творческого в этой политике не было. Это было переживание и пережевывание, с одной стороны, уже бесповоротно осужденной историей политики Николая I, с другой — дальнейшее развитие и продолжение того раскаяния в реформах, которое так сильно захватило душу «царя-освободителя» уже тогда, когда он еще «башмаков не износил», в которых шел за гробом крепостничества.

Чтобы «укрепить самодержавие», надо было обрести для него прочную опору, надо было создать класс людей, материально связанных с царизмом. Так как ни к какой творческой идее Александр не был способен, то он и тут ничего нового, более соответствующего духу времени, придумать не мог. Ни на крестьянство, ни на народившуюся буржуазию Александр опереться и не пробовал. Тут надо было бы изыскивать новые пути, пустить в ход новые приемы. Гораздо проще и легче казалось идти старым, традиционным, давно проторенным путем, т.е. опору искать в дворянстве. Для этого прежде всего надо было по возможности загладить историческую ошибку 19 февраля 1861 г.

Это исправление шло почти одновременно в двух направлениях. С одной стороны, пришлось считаться с глухим недовольством и даже брожением в крестьянской массе, особенно усилившимся после войны 1877-78 гг. Надо было в пределах существующего, во-первых, пресечь всякие крестьянские мечтания о прирезке земли, во-вторых, несколько ослабить экономическую петлю на шее крестьянства, затянутую при упразднении крепостной зависимости.

В декабре 1880 г. переход крестьян на выкуп был объявлен обязательным, причем выкупные платежи были понижены довольно значительно. В мае 1882 г. была понижена подушная подать, а в 1885 г. совершенно уничтожена. В 1882 г. был учрежден крестьянский поземельный банк. Этим достигались две цели. Крестьяне, преимущественно более состоятельные, получили возможность расширить свое землепользование, а дворянские земли, благодаря увеличившемуся на них спросу, поднялись в цене. /153/

Результаты, впрочем, получились довольно неожиданные для авторов этих мероприятий.

Так как господа дворяне в массе так-таки и не научились хозяйничать и никак не могли приспособиться к вольно-наемному труду, то началась такая усиленная распродажа дворянских имений, что обезземеление дворянства стало вопросом недалекого времени.

Пришлось крестьянскому банку сократиться, а в 1885 г., к столетию жалованной грамоты дворянству, приступлено было к учреждению Дворянского банка с исключительными льготами для заемщиков. Это несколько замедлило процесс ликвидации дворянского землевладения, но способствовало быстрому превращению почти всего поместного дворянства в безнадежных неплательщиков, которых приходилось беспрестанно поддерживать на счет того же мужика. А чтобы мужика крепче прибрать к рукам, он вновь был отдан под начало и опеку дворянства.

Была учреждена новая должность земских начальников, обязательно из потомственных дворян. Этим начальникам дана была власть административная и власть судебная, и это смешение властей поглотило и все зачатки крестьянского самоуправления, и судебные функции выборного мирового суда. Одновременно с этим была учреждена специальная сельская опричнина, в виде целой армии урядников.

Естественно, что дворяне-хозяева и вообще дворяне более или менее культурные на полицейские должности земских начальников не шли, а шли туда Ноздревы и отставные корнеты Отлетаевы, вообще люди типа «ташкентцев».

Это называлось созданием «власти, близкой к народу». И, действительно, власть эта была близка, зачастую даже слишком близка, вплоть до рукоприкладства. Опозоренный красный дворянский околыш стал бичем крестьянского быта. В свое время барин-помещик как-никак был связан и материально, и общностью многих интересов со своими крестьянами. А налетный барин, земский начальник, никаких органически почвенных связей с подчиненными ему крестьянами, большей частью, не имел, и так как в земские начальники шли /154/ большей частью, дворяне-неудачники, то они и вымещали все обиды своей неудачной жизни на безответственных крестьянских спинах.

В этом же духе, в духе сословном, проникнутом началами крепостничества, последовательно шло все законодательство Александра III, вдохновляемого Победоносцевым, Д. Толстым и всею, на все готовой, бюрократией.

К крестьянам отношения складывались исключительно по принципу: «ен достанет».

А для того, чтобы «ен» доставал беспрекословно, он был стиснут и дворянской опекой, и государственной властью, которая признавала в крестьянстве строго обособленное сословие, обязанное кормить всех: и царя, и его дворню, т.е. дворянство, за которым закреплено было вновь это пошатнувшееся было его почетное положение, и бесчисленную бюрократию, и, конечно, давать пушечное мясо, содержать армии и флоты, полицию и юстицию, одним словом, помимо всего, еще тащить на своей спине тот тяжелый крест, на котором его же распинали...

Обратно прикрепить крестьян к помещикам было уже невозможно. Выполнимее было поставить крестьянство в крепостную зависимость от государства. И в этом направлении шла вся внутренняя

политика. Земские начальники и урядники были только отдельными звеньями этой цепи.

Надо было, в интересах государственного крепостничества, прикрепить крестьян к земле, и это было отчасти достигнуто затруднениями для выхода из общины. Затруднена была выдача крестьянам паспортов. Домохозяева могли получать паспорта только с согласия схода, подчиненного земскому начальнику, а другие члены крестьянского двора могли получать паспорта только с согласия земского начальника.

Стеснены были семейные разделы, и вообще «священное право собственности» признавалось в полной мере только за помещиками, права собственности же на крестьянские наделы были стеснены и ограничены.

Было стеснено в пользу помещиков и право крестьянина на тот «свободный труд», к которому так высокопарно /155/ призывал крестьян манифест Александра II. Положение «о найме на сельские работы» подчиняло вольнонаемный крестьянский труд интересам поземельного дворянства.

Совершенно естественно, что при этой политике надо было привести к молчанию печать, что и было достигнуто «временными правилами» 1882 г.

Как большинство «временных правил», и эти пережили своих творцов, и Александра III, и Толстого, и были уничтожены только революцией 1905 года.

И в этих правилах проявилась основная тенденция царствования, направленная главным образом против трудового населения.

Были изданы запретительные каталоги книг для публичных и, главное, для народных библиотек. Таким образом, даже печать, прошедшая сквозь кавдинские ущелья цензуры и административного надзора, далеко не целиком могла попасть в библиотеки общего пользования, и самой незначительной частью могла попадать в библиотеки и читальни народные.

Крестьянство и трудовое население городов не могло пользоваться даже теми легально изданными книгами, которые свободно могли покупать представители более состоятельных классов.

Народ, остававшийся в стороне от литературной жизни интеллигенции, сам ошупью, в темноте вызывал создание своей литературы и, главное, сумел создать обширный и оригинальный аппарат для распространения и снабжения книгами крестьянской массы.

Какова бы ни была та лубочная литература и те лубочные картинки, которыми питался крестьянский книжный голод, народ, который так часто вынужден был питаться лебедой вместо хлеба, нуждался в этом суррогате, в этой книжной «лебедь», и в то время, как во многих уездных городах не было ни одной книжной лавки, заходяие офени, эти странствующие книготорговцы, разносили по самым глухим углам России свои листовки и картинки.

Распространительный аппарат был так хорошо приспособлен к народным потребностям, что затем и «Посредник», и разные комитеты грамотности только тогда /156/ стали находить доступ своим изданиям в деревни, когда они приспособились к этому аппарату.

Правительство Александра III поспешило наложить свою полицейскую лапу и на это бытовое явление народной жизни.

Разносная книжная торговля офеней была запрещена, хотя офени торговали только изданиями, прошедшими сквозь предварительную цензуру. С большой последовательностью было «реформировано» и дело народного образования сверху донизу.

Новым университетским уставом 1884 г. университетская автономия была упразднена. Все: и личный состав профессуры, и программы преподавания, и характер преподавания были подчинены административному усмотрению и должны были приспособиться главнее всего к понятию политической «благонадежности».

Всякие легальные способы объединения между студентами были запрещены, и студенты, «рассудку вопреки, наперекор стихиям», рассматривались как «отдельные посетители» университета.

Это было глупо, но в мудрое царствование Александра III за умом и логикой не гнались.

Народные школы задумали было совсем изъять из ведения земств и всяких общественных организаций. Но, так как земство сделано было дворянским, то устранить совершенно даже «первенствующее сословие» от школьного дела сочтено было неудобным. Стали заводить церковно-приходские школы, и чем дальше, тем больше, и давали им всякие преимущества перед школами земскими. Правда, батюшки учили и плохо, и неохотно, не видя в том особой прибыли для себя, но ведь не для ученья и основывались церковно-приходские школы.

Надзор за школами земскими был устроен такой, что учителям и учительницам житья не стало. Земские начальники третировали их, как преступников, сельские батюшки, деревенские кулаки, сельские старосты, вплоть до урядников, мудрили над школами и учительством во всю силу своей некультурности, своего невежества и злопыхательства. Казенные инспектора большей частью относились к вверенным их надзору школам, как ко вражеской /157/ стране. Наиболее толковые учебники были изъяты из употребления. Учителя и учительницы на своих нищенских окладах сплошь и рядом голодали. Отопление школы часто зависело от милости и расположения деревенского кулака.

Правительство Александра III отлично понимало то, что впоследствии было откровенно высказано Витте в его записке о «самодержавии и земстве». Именно, что самодержавие и земство несовместимо, так как диалектически процесс местного самоуправления неотвратимо ведет к конституции, как к «увенчанию здания». А так как самодержавие Александр III ставил превыше всего, то было вполне последовательно стремление вытравить из земства всякий дух самоуправления и вполне подчинить его администрации.

В 1890 году земство было новым законом преобразовано — и придачей ему более определенного сословного характера, и более полной бюрократизацией земства. По новому положению, за дворянством было обеспечено большинство. Свыше 57% гласных избирало дворянство. Председатели управ подлежали утверждению администрации, а в случаях их неутверждения, они назначались начальством.

Самые выборы гласных от крестьян были ограничены не только количественно. Сельские сходы выбирали только кандидатов, причем обязательно было выбрать на каждое место гласного двух или трех кандидатов, из числа которых губернатор назначал главного.

Самые выборы кандидатов происходили под надзором и давлением земского начальника.

Всякие разногласия между земствами и местной администрацией разрешались особым присутствием по земским делам, в состав которого входила та же администрация в лице губернатора, вице-губернатора, губернского предводителя дворянства, управляющего казенной палатой, прокурора окружного суда, а от земства лишь председатель губернской земской управы.

В области городского самоуправления никак нельзя было проводить излюбленное сословное начало. Дворянство, как таковое, могло играть слишком незаметную роль в городском хозяйстве. Поэтому здесь начало сословное /158/ пришлось заменить началом цензовым, установив очень высокий имущественный ценз. Таким образом, вся масса городского населения, как наиболее трудовая — рабочие, ремесленники и служащие, так и наиболее культурная — трудовая интеллигенция — были отстранены от городского хозяйства, всецело предоставленного домовладельцам, промышленникам, торговцам, трактирщикам. При этом значительно уменьшился самый контингент городских избирателей, сведшийся к ничтожному меньшинству городского населения.

Исполнительные органы были снабжены обширными правами в ущерб гласным и общим собраниям городских дум, но эти же исполнительные органы были всецело подчинены администрации, от которой зависело их утверждение, причем административный надзор распространялся не только на закономерность действий городского самоуправления, но и на целесообразность, так как

предполагалось, что чиновники лучше должны знать, что нужно населению, чем его выборные.

Александр III, конечно, не мог понять, к чему это неизбежно приведет. Не мог понять, что бюрократизация городского и земского самоуправлений, превращая их в части казенного механизма государственного управления, поведет к тому, что, питая в них волю к власти государственной, сделает их, в конце концов, еще более опасными для самодержавия, так как у них перед бюрократией чиновнической и беспочвенной будет все-таки преимущество почвенности и органической связи с массой населения.

За свое короткое царствование Александр III не успел увидеть плодов своей политики. С ними пришлось очень чувствительно познакомиться его преемнику.

При нем же, при Александре III, все шло по намеченному руслу.

Была введена предельность земского обложения, чем значительно сужены были и чисто хозяйственные функции земства. Знаменитая зиновьевская ревизия произвела политическую чистку земства, а в Западном крае было учреждено земство, даже лишенное выборного начала.
/159/

3. Болгарская политика

Положение в Болгарии, которое вместе с ее конституцией Александр III получил в наследие от прошлого царствования, лежит на рубеже между внешней и внутренней политикой его.

Конечно, Россия «облагодетельствовала» Болгарию. Но каково положение человека, который стараниями своего благодетеля освобожден из тюрьмы, а благодетель после этого не только регламентирует каждый его шаг, но и требует от него постоянной благодарности, ежеминутно напоминает ему о своем благодеянии и обижается, как только облагодетельствованный несколько устанет от выражений своей благодарности, или как только облагодетельствованный обнаружит желание пожить своим умом.

Таково именно было положение славянских государств, преимущественно же Болгарии, при воцарении Александра III.

Еще до этого воцарения генерал Дондуков-Корсаков вводил в Болгарии конституцию, и был посажен на болгарский престол племянник императрицы Марии Александровны, кн. Александр Баттенбергский.

В Болгарии сразу обозначилось и раньше существовавшее там классовое расслоение населения.

Буржуазия, чорбаджии, которым и под турецким владычеством жилось недурно, образовала консервативную партию с митрополитом Климентом во главе.

Крестьянство и трудовая интеллигенция (народные учителя) образовали группу демократическую.
/160/

Русские офицеры, еще хозяйничавшие в только что освобожденной стране, конечно, приняли сторону буржуазии и митрополита.

Выборы в первое народное собрание дали большинство прогрессистам. Но князь призвал к власти консерваторов, в том числе в кабинет вошли два русских генерала. Пришлось народное собрание распустить.

Новые выборы дали еще более ярко-демократическое народное собрание. Пришлось князю призвать в министерство либералов. Но ни либеральное министерство Цанкова и Каравелова, ни народное собрание не могли ничего поделать против русских генералов и русского офицерства, в руках которых был князь.

Был спровоцирован государственный переворот, и в мае 1881 г., т.е. уже в царствование в России

Александра III, конституция была временно упразднена и во главе правления был поставлен русский генерал Эрнрот.

Были назначены новые выборы, сопровождавшиеся таким давлением, насилиями и мошенничествами власти, что получилось некоторое консервативное большинство.

Князем Александром русское правительство было так довольное, что поощрило его денежной подачкой. Из удельных сумм назначена ему была субсидия в 100.000 рублей в год.

Но эта русско-болгарская идиллия продолжалась недолго.

Поссорились из-за «кости», а костью этой оказались болгарские железные дороги.

На постройку дорог претендовали одна компания русская, протезируемая русским правительством, другая болгарская, в которой материально заинтересованы были тузы болгарской консервативной партии, на стороне которых был князь.

Как водится, эти материальные вожеления железнодорожных предпринимателей были изукрашены и соображениями стратегическими. Одним словом, как у Некрасова: /161/

«Аргумент экономический,
Аргумент патриотический,
И важнейший, наконец,
С точки зренья стратегической,
Аргумент — всему венец».

Чтобы усилить последний аргумент, прислали из Петербурга еще двух генералов. Один из них, генерал Соболев, взял себе министерство внутренних дел, а другой, ген. Каульбарс — военное.

Так как железнодорожные вожеления рассорили русскую власть с консерваторами и с князем, то и пришлось русским генералам полюбезничать с либералами. Заставили князя восстановить тырновскую конституцию, стали хозяйничать в стране, точно Болгария была уже русской губернией, и стали в оппозицию к князю. Князь обратился в Петербург с жалобами, прося отозвать неожиданных либералов. Но из Петербурга ответили в том смысле, что мы, мол, сами знаем, надо ли отозвать генералов, а генералы не только сами не ушли, но даже заставили уйти болгарских министров.

Тем временем консерваторы, пред лицом русской опасности, стали искать сближения с либералами. А тут еще образовалась радикальная оппозиция с Каравеловым и Стамбуловым, и кончилось все тем, что русским генералам пришлось-таки убраться.

Александр III ужасно рассердился на Болгарию за ее непослушание и «неблагодарность», и отозвал русских офицеров, личных адъютантов князя. Князь ответил увольнением других русских офицеров из своей свиты.

В Англии и Австрии очень внимательно следили за всеми глупостями русской политики и поняли, что не нужно было даже Берлинского конгресса, чтобы лишить Россию всех плодов и войны, и ближневосточной политики.

Когда Восточная Румелия провозгласила свое соединение с Болгарией, Россия, как и предвидели английские дипломаты, скомпрометировала свою политику новою нелепостью.

Русская дипломатия, опираясь на берлинский трактат, резко высказалась против того самого объединения /162/ Болгарии, которое она отстаивала по Сан-Стефанскому договору и которое не состоялось по настояниям, главным образом, Англии и в пику России.

Теперь Англия поспешила воспользоваться глупостью русской дипломатии, направлявшейся лично Александром III, и рекомендовала поменьше ссылаться на Берлинский трактат, чтобы не толковать его постановлений «в ограничительном смысле для тех народов, участь которых надлежит

улучшить».

Получилось преглупое и даже препикантное положение.

Россия, принеся столько жертв в последнюю войну, как и в целом ряде предыдущих войн, униженная на Берлинском конгрессе, теперь отстаивала стеснительные для славян статьи Берлинского трактата и отстаивала права султана во вред славянам, а защитницей славян выступала Англия, а русского ставленника, болгарского князя — поддерживала также и Австрия против России. В конце концов, даже Порты примирилась с Александром Баттенбергским, и державы, вопреки Александру III, признали его генерал-губернатором Восточной Румелии.

Александр III страшно рассердился и приписал всю вину не глупости своей дипломатии, а предательству и неблагодарности Баттенберга. И, как ребенок, бьющий камень, об который он ушибся, Александр III обрушил свой гнев на болгарского князя.

Все русские офицеры были отозваны из Болгарии, но расстроить болгарскую армию этим не удалось. Милан Сербский, вздумавший использовать момент, когда болгарская армия лишилась русского командного состава, и набросившийся на Болгарию, был позорно разбит.

После восстания в Болгарии, князю Батгенбергу пришлось-таки уйти, но на болгарский престол попал после этого не русский кандидат, а австрийский — Фердинанд Кобургский.

Румыния после войны была обижена Россией, Сербия при Милане держалась австрийской ориентации, но Александр III так плохо соображал размеры дипломатического и политического поражения России на /163/ Ближнем Востоке, что в 1889 г. произнес демонстративный тост за «единственного верного друга России, князя Николая Черногорского». Впрочем, единственный друг этот был не совсем бескорыстен, получая от России постоянно денежные подачки.

Таким образом, удивительно выдержанная и последовательная, «мудрая» политика «Миротворца», Александра III, привела к тому, что Россия без всякой войны потеряла не только все плоды победоносной войны, но потеряла даже больше, чем могла бы потерять после самой несчастной войны.

Александр III был противником не только внутренней, но и внешней политики своего отца.

Во внутренней политике он очень успешно ликвидировал все, что можно было, из реформ Александра II и закончил разрушение всего того, чего не успела разрушить реакция, закончившая царствование Александра II.

В области внешней политики Александр III успел уничтожить достижения предыдущего царствования на Балканах.

Александр II жил в дружбе с Германией и питал нежные родственные чувства к дяде своему, германскому императору.

Александр III немцев не любил, родственников чувств к германскому императорскому дому не питал. Александр III был примерным семьянином и жил в примерном согласии со своей женой, дочерью страны, обиженной и обобранной Пруссией.

Наивные люди вначале возлагали даже какие-то надежды на датскую принцессу Дагмару. Надеялись, что дочь конституционного короля, враждебная к Пруссии с ее культом силы, внесет какие-то либеральные влияния в свою новую родину.

По поводу въезда Дагмары в Россию, Тютчев написал восторженное стихотворение:

.....
Словно строгий чин природы
Предан был на эти дни
Духу жизни и свободы,
Духу света и любви. /164/

.....
Небывалое доселе
Понял вещей наш народ,
И Дагмарова неделя
Перейдет из рода в род.

Эти стихи написаны в 1866 г., а через 15 лет бывшая принцесса Дагмара стала русской императрицей, и «вещий наш народ», за которого без достаточных оснований говорил Тютчев, решительно ничего хорошего не почувствовал.

Мария Федоровна была покорной, послушной и довольно бесцветной женой Александра III, и не смела, а вероятно, и не хотела ни в чем перечить своему мужу.

Трудно сказать, имела ли Мария Федоровна даже влияние на чувства своего мужа к немцам.

Александр III и сам по себе недолюбливал немцев, и помнил обиду Берлинского конгресса, но, с другой стороны, Германия была оплотом европейского консерватизма и монархической идеи. А соперница Германии, Франция, была республикой, имела в прошлом несколько революций и национальным гимном у нее была «Марсельеза». К тому же она отказалась выдать участника покушения на Александра II, Гартмана, да и был там такой министр, как Флокэ, который когда-то в Париже, во дни молодости своей, крикнул Александру II прямо в лицо:

— Да здравствует Польша!

Ах, эта Польша. Она стояла на всех путях русско-славянской политики.

Как только русская царская дипломатия подымала славянский стяг и прикрывала свои вождедения умилительными словами о братьях-славянах, стонущих и под австрийским, и под турецким игом, слышалось это коварное:

— А как же Польша?

На это даже самые красноречивые славянофильские витии не находили приличного ответа, и мямлили что-то жалкое.

Иногда доходило до того, что русский царизм готов был даже играть в демократию, лишь бы привлечь /165/ к себе русинов, чехов, словаков, но всегда возникал этот больной и неразрешимый для царизма вопрос о Польше.

С Пруссией же роднило русский царизм одинаковое отношение к Польше и к полякам. Тут их русифицировали, там их онемечивали, и почти с одинаковым неуспехом.

Все это мешало Александру III высвободиться из-под ферулы германской традиционной дружбы, и неизвестно, какое бы направление, в конце концов, приняла внешняя политика Александра III, если б не... проклятые деньги, если б не так своеобразно отразившаяся на его политике власть экономического материализма. /166/

4. Русско-французский союз

Русское правительство всегда нуждалось в деньгах.

Принцип «ён достанет» пришлось расширить в том смысле, что «ён» достанет не только то, что он может дать в наличности, но что мужик русский превзойдет самую красивую французскую девицу в том отношении, что он даст больше, чем он сам имеет, ибо откроет себе кредит и будет по нему уплачивать проценты, лишь бы удовлетворить начальство.

Таким образом, государственные росписи заключались с дефицитом и недохватки покрывались внутренними и внешними займами.

Внешние займы размещались на германском рынке. Но по мере развития германского капитализма и увлечения колониальной политикой рост германской промышленности сам поглощал все свободные капиталы. К тому же Бисмарк очень давал чувствовать России ее зависимость от германского денежного рынка. При малейшей политической заминке, он производил через послушную биржу нажим на русские бумаги, их переставали котировать на берлинской бирже, и в России сейчас же чувствовалось денежное оскудение.

А у Франции и денег было много больше, чем в Германии, и желание было большое заручиться поддержкой России. Но было это трудно. Союз России с Францией очень много давал Франции. Прежде всего он застраховывал ее от германского нападения, возможность которого висела над Францией вечным кошмаром. /167/

России же такой союз в смысле политическом давал очень мало.

Франция по своему положению очень мало могла помочь России в ее внешней политике.

Россия же нужна была Франции, конечно, не своей культурой, не своей слабой и отсталой техникой, а только своей военной мощью, проще — своим пушечным мясом.

Франция охотно купила бы это русское пушечное мясо, да мешали разные обстоятельства и традиции.

Но в конце концов соблазн французских сребренников превозмог все препоны, и царь Александр III, миротворец и патриот, продал французской буржуазии русских мужиков, одетых в солдатские шинели. Продал, конечно, не буквально, а условно, «до востребования».

Пришел момент — и французский Шейлок потребовал полностью и даже с избытком условленный «фунт мяса».

Об этом с каким-то удивительным цинизмом рассказывает в своих записках бывший французский посол в Петербурге, Морис Палеолог. Но это было уже в царствование Николая II. А при Александре срок уплаты еще не наступил. Александру приходилось расплачиваться пока только слушанием «Марсельезы». Но если Генрих IV находил, что «Париж стоит мессы», и терпеливо выслушал католическую обедню, то и Александр, по-видимому, находил, что французский миллиард стоит «Марсельезы», и терпеливо выслушивал революционный гимн.

Бисмарк с удивительным дипломатическим мастерством втягивал Александра III то в соглашение с Германией, то даже в тройственное соглашение трех императоров, несмотря на явное расхождение политики России и Австрии на Балканах.

Но решил все вопрос денежный. Как только Франция раскрыла перед Россией свой кошелек, русско-французский союз мог считаться делом решенным.

Французы оказались столь предупредительны, что еще до формального заключения союза поместили в русских ценностях миллиарда четыре франков, т.е. сумму, почти равную сумме, уплаченной им немцам контрибуции. /168/ А дальше на Россию посыпался французский золотой дождь. В общем, в займах и предприятиях французы поместили в России свыше 12 миллиардов франков.

Это французское золото создало в нашей стране видимость промышленного процветания, дало возможность выгодно конвертировать прежние займы, подготовить переход к золотой валюте, прикрыло внешним финансовым блеском лохмотья народной нужды, слабую покупательную способность населения, укрепило позицию царизма и, способствуя быстрой капитализации промышленности, умножило фабрично-заводской пролетариат.

«Так вот где таилась погибель моя», — мог бы сказать русский царизм, если б он обладал большей исторической проницательностью.

Это понял, а если и не понял, то почувствовал Николай II. При Александре же безумная пляска

миллиардов еще не успела доплясаться до катастрофы, а напротив создавала мираж какого-то финансового преуспевания.

Впрочем, не одни иностранные деньги влияли на внешнюю политику Александра III, на участие его в той или иной группировке держав.

Были и мотивы более «идейного» характера, и эти мотивы очень хорошо учитывались европейскими правительствами.

За русскую дружбу царю уплачивали не только золотом, но и живыми людьми.

Французское правительство отказало, потому что под давлением общественного мнения не посмело выдать Льва Гартмана, участника подкопа под Московско-Курскую ж. дорогу, и это испортило отношения русского царя к Франции и было немедленно учтено Бисмарком, который в июле 1884 г. угодил Александру высылкой из Берлина всех русских «неблагонадежных» с русско-полицейской точки зрения. На этой почве удалось осенью того же года устроить в Скерневицах свидание трех императоров, которое обнаружило перед всем миром, что Россия вновь служит интересам Германии и неизменно враждебной Австрии. /169/

Когда же оказалось, что Бисмарк за спиной России заключил отдельное соглашение с Австрией, направленное против России, а Франция стала подкупать русскую царскую политику своим золотом, то она не ограничилась одним золотом, а предала России и русских невольных эмигрантов. В Париже была, с благословения республиканского правительства, организована русская охранка по всем правилам русского политического сыска. К полному удовольствию русского правительства было ликвидировано дело провокатора Гартинга-Ландезена и вообще дело было так организовано, что с тех пор и во Франции русский человек постоянно чувствовал на себе взгляд русского шпиона и родного провокатора. Одним словом, и там «Русью пахло», и ощущалась родная, отечественная атмосфера, доходило даже до набегов русско-парижских сыщиков на русскую типографию (в Швейцарии), до того вольготно чувствовали себя русские охранники в свободной республике.

А в то же время французские деньги давали возможность, ни с чем не считаясь, вести империалистическую внешнюю политику и ярко реакционную внутреннюю.

Ближний Восток был потерян для России, и русский империализм стал оглядываться в поисках, где что плохо лежит. А плохо лежали, т.е. более или менее беззащитны были «инородцы», т.е. поляки, финны, евреи, армяне — внутри и Персия, Средняя Азия, Маньчжурия, Корея — извне.

И началось нащупывание почвы в этих направлениях. С «внутренними врагами», с печатью, со школой, с земством, да с инородцами церемониться было нечего. Тут у царизма была своя рука владыка. А к проникновению в Персию, Маньчжурию и Корею, к дальнейшему продвижению в глубь Средней Азии надо было подготовиться. Прежде всего надо было подумать о железных дорогах в Сибири и в Средней Азии.

Одним из проявлений усилившегося интереса к Дальнему Востоку было путешествие наследника Николая Александровича. В путешествии этом сопровождал наследника, между прочим, Э.Э. Ухтомский, впоследствии директор Русско-Китайского банка, который (банк), /170/ как и железная дорога через Маньчжурию, были орудием нашего агрессивного вмешательства в дела желтого материка.

На этот раз член русского императорского дома впервые показался в Японии. Но там вышла неприятность. В г. Отсу один из членов японской полицейской охраны, стоявший на пути следования путешественников, попытался своею саблею разрубить голову наследнику и, пожалуй, успел бы в этом, если б греческий королевич, шедший рядом, не успел отстранить второго удара. Все же наследник был ранен в голову.

Несмотря на все извинения японского правительства, царь-отец так рассердился, что по телеграфу приказал сыну немедленно прервать путешествие.

Тогда ходило по рукам четверостишие, неизвестно кем сочиненное:

Происшествие в Отсу,
Вразуми царя с царицею:
Сладко-ль матери, отцу,
Если сына бьет полиция.

По-видимому, в народных массах Японии обозначавшееся стремление России на Дальний Восток уже вызывало и тревогу, и враждебные чувства.

Но во дни Александра III только намечались первые шаги агрессивной дальневосточной политики, втянувшей нас впоследствии в гибельную войну с Японией. Великий Сибирский железнодорожный путь, без которого никакая агрессивность не могла быть осуществлена, был только торжественно заложен наследником во Владивостоке и требовал времени для своего осуществления.

С Ближнего Востока Россия ушла, в Константинополе самое влиятельное положение, из-за которого так долго соперничали там Россия и Англия, заняла Германия, уже мечтавшая о Багдадской железной дороге и о победе своей промышленности на этом новом для нее фронте. В то же время Германия открыто поддерживала Австрию в ее балканской политике, русская же дипломатия Александра III, вытесненная собственной неумелостью с Ближнего Востока, искала утешения /171/ в Персии, в которой никаких единоверных братушек не было и с которой воевать не приходилось, потому что слабая Персия шла на все уступки, предел которым ставило только соперничество Англии на этом пути в Индию. Франция, конечно, поддерживала Россию, германская дипломатия ничего не имела против того, чтобы новая союзница Франции впуталась в какую-нибудь далекую азиатскую авантюру, Австрия обделывала свои дела на Балканах, и Александру III пока что только и оставалась роль «миротворца». А так как он неожиданно скончался, успев процарствовать только 13 лет, то он и не успел выйти из этой роли, оставив своему преемнику задачу расхлебывать всю ту кашу, которую он начал заваривать.

Пока же все были довольны политикой Александра III, называя ее «мудрой», а его «миротворцем».

Австрия укрепляла свое положение в даром доставшихся ей Боснии и Герцоговине, опутывала экономически Сербию и имела своего ставленника в лице болгарского князя.

Германия открыто поддерживала Австрию и налаживала свою ближневосточную политику, ничего не имея против того, чтобы Россия запуталась на Дальнем Востоке. Франция считала себя застрахованной от нападения Германии, хотя платила за эту страховку высокие премии.

При таких условиях воевать пока было не с кем, и «слава, купленная кровью» не могла соблазнить Александра III.

Казалось, что Россия ощущала «полный гордого доверия покой», но этот покой все более походил на покой кладбища...

Тяжела была в свое время «николаевщина», невыносима была самоуверенная, самодовлеющая, самодержавная твердокаменность императора-жандарма.

Но тяжелая, грузная фигура Александра III, казалось, давила не то чтоб сильнее, но как-то обиднее, больнее.

И сам по себе этот тупой, сильно выпивавший, ограниченный человек был мельче Николая, будничнее, серее, и Россия была уж не та. За полвека, отделявшие /172/ Александра III от Николая I, Россия стала не та, она стала куда чувствительнее, восприимчивее.

Уже при Николае I выросла в России интеллигенция, которая была много культурнее, умнее, образованнее и талантливее и царя, и окружавшей его клики.

При Александре III разница эта обозначилась неизмеримо резче.

Даже средний уровень страны стал значительно выше той культурной низины, в которой очутилась высота престола... /173/

5. Финансы

При Александре II, в связи с общим упорядочением государственного управления, внесены были более культурные приемы и в управление финансами. В 1877 г. курс нашего бумажного рубля настолько повысился, что можно было мечтать о постепенном восстановлении обмена. Но война 1877-1878 гг. увеличила почти на полмиллиарда выпуски кредитных билетов, и финансы опять пришли в расстройство.

Но Александр III, как уже отмечено, имел одно неоспоримое достоинство: он не испытывал ни зависти, ни ревности к умным людям и не боялся их.

Когда вместе с Лорис-Меликовым и Милютиным ушел и министр финансов Абаза, Александр III вручил министерство финансов киевскому профессору Бунге.

Н.Х. Бунге был честный и дельный финансист, серьезный ученый и культурный человек.

Он приложил много стараний к упорядочению нашей налоговой системы и всего финансового управления. Но он не признавал никаких фокусов, и поэтому почти все сметы за время своего управления финансами он честно и откровенно сводил с дефицитами, скрывать которые не желал.

За это и главным образом за то, что он пытался привлечь к податному обложению и неподатные сословия, мечтал о введении подоходного налога, уменьшил выкупные крестьянские платежи и провел уничтожение подушной подати, его травили патриоты своих привилегий во главе с Катковым. /174/

К тому же Бунге не везло. Наш главный и бессменный министр финансов, с которым никакому самодержцу не сладить, г. Урожай, за шестилетнее управление Бунге финансами несколько раз подрывал все расчеты.

Зато этот самый г. Урожай очень благосклонно отнесся к преемнику Бунге, к Вышнеградскому, к человеку тоже ученому, но куда более ловкому и менее щепетильному.

Несколько хороших урожаев и подчинение всей железнодорожной тарифной политики государству, повышение пошлин, всякие поощрения быстрой реализации урожаев и широкого вывоза нашего хлеба за границу дали Вышнеградскому возможность, при улучшении торгового баланса, сводить бюджетные росписи без дефицитов, более выгодно заключить новые займы и конвертировать старые.

Получился некоторый финансовый блеск при удлинении сроков нашей задолженности и увеличении их суммы, т.е. при большем обременении будущих поколений.

Поощрение вывоза приводило к тому, что мужик, при еще большем недоедании, мог исправнее уплачивать налоги и подати. Стали продавать за границу и вывозить хлеба больше, чем можно было без ущерба собственной сытости. Курс нашего рубля стал повышаться, чрезвычайно оживились всякое грюндерство и биржевая игра, бешеные деньги завертелись в веселой свистопляске, и сермяжная Русь вдруг явила изумленному миру видимость необычайного финансового расцвета. Вдруг в 1891, а за ними в следующем году, г. Урожай опять подвел. Под мишурой финансового блеска обнаружилось рубище мужицкой нищеты и голодное, изможденное тело крестьянской Руси.

Вышнеградский правил финансами недолго, всего лет пять. В начале 1892 г. он заболел и в августе того же года ему пришлось оставить министерство.

Финансовый блеск, ознаменовавший деятельность Вышнеградского, не всех ослеплял. Достигнуты были крупные улучшения в железнодорожном хозяйстве и подчинение его интересам государственным или тому, что /175/ считалось ими, но самые крупные достижения, например,

смелая и широкая операция конверсии займов и тогда вызывали сомнения.

Сумма задолженности увеличилась, процент по долгам в конечном счете остался довольно высоким. Но банкиры, при посредстве которых совершались конверсии, были очень довольны. Им были уплочены огромные суммы в виде комиссионных. Такие гонорары зарабатывались до тех пор только на банковских операциях с экзотическими странами. Но там никогда не могло быть такого размаха и не могли фигурировать такие колоссальные суммы.

После Вышнеградского вступил в управление финансами С.Ю. Витте, могущий считаться его учеником.

Витте перед тем недолго (около пяти месяцев) управлял министерством путей сообщения.

Со вступлением в управление финансами Витте, Россия стала еще в большей степени удивлять Европу «финансовыми чудесами».

Дефициты как рукой сняло — и независимо от того, был ли урожай или недород. И это продолжалось во все одиннадцатилетнее управление Витте.

Мало того, не только не было дефицитов по росписям, но и по их исполнению непрерывно оказывались еще избытки, отчего у министра финансов образовалась «свободная наличность». Это создало министру финансов совершенно исключительное положение. Раз министр располагал не только сметною, но и сверхсметной свободной наличностью, то главы всех других ведомств должны были с ним не только особенно считаться, а и заискивать в нем.

А Витте и по личному характеру своему умел широко пользоваться своим положением, и очень скоро стал самым властным министром, истинным главой правительства.

Несомненно, Витте был самым умным и самым даровитым из министров последних двух царствований, но волшебником он, конечно, не был, и сверхъестественными силами не обладал.

Чем же объяснить произведенное им финансовое чудо бездефицитности? /176/

Народ русский не разбогател. Его покупательная сила не возросла.

Крестьянские урожаи не увеличились ни на одно зерно. Народ не стал ни лучше питаться, ни лучше одеваться, ни культурнее жить. И вдруг такой волшебный переход от неизбывных дефицитов к неизменно накапливающейся свободной наличности!

Все волшебство и все чудо в том, что Витте, не будучи ни ученым профессором политической экономии, как Бунге, ни финансистом, твердо усвоил щедринскую формулу «ён достанет» с присовокуплением афоризма Кречинского: «В каждом доме имеются деньги, надо только уметь их достать».

Вот эту технику доставания Витте усвоил в совершенстве и осуществил с изумительной энергией и талантом.

Он нисколько не печалился о том, что Бунге уменьшил некоторые прямые налоги. Витте знал, что не в них сила, а суть в косвенном обложении, обладающем удивительной растяжимостью. Витте на эту сторону и поналег, да так умно, что нищий, обыкновенно недоедающий русский мужик стал снабжать бюджет не миллионами, а миллиардами. А Витте исчислял приходные сметы в обрез, заведомо меньше ожидаемых поступлений, и потому всегда обеспечивал себе «свободную наличность».

Очень умело использовал Витте и все те улучшения в финансовом хозяйстве, которые до него подготовили Бунге и потом Вышнеградский, и ему удалось осуществить то, к чему его предшественники стремились: ввести золотое обращение, причем правительство сразу скинуло со счетов целую треть своего внутреннего долга по кредитным билетам; это в коммерческом быту называется «ломать рубль» или «вывернуть шубу», а на вежливом бюрократическом языке

называется девальвацией. Удалось провести казенную водочную монополию, окончательно утвердившую основой государственного бюджета — народное пьянство.

Впрочем, все это сделано уже при Николае II, но свое выдающееся положение в правящей бюрократии Витте успел создать уже при Александре III. /177/

Витте не был ни богат, ни знатен, не было у него родовых связей. Карьеру свою он начал со скромной должности товарного кассира на одесской железнодорожной станции, но скоро стал одним из самых крупных авторитетов в практике и в теории железнодорожного хозяйства.

Он был умен, энергичен, смел до дерзости, резок, тверд и самоуверен.

Таких людей европейской, или даже американской складки бюрократия наша до того не знала. Даже внешностью своей, крупной фигурой, резкостью, деловитостью и уверенностью в своих силах, с налетом грубости, ярко выделялся он из толпы сановников, окружавших царя и правивших Россией.

В лице Витте в ряды правительства впервые вошел настоящий кровный буржуа европейского стиля, необычайно трудоспособный и... беспринципный.

Витте как-то выпустил книгу: «Принципы железнодорожных тарифов». Этим кажется и исчерпывалась вся его принципиальность.

Правда, у него был предтеча, тоже выдающийся делец буржуазного стиля, Вышнеградский, но тот был только предтеча, Витте был полным воплощением «бога индустрии».

На пути развития капитализма в России стояла вся историческая нескладница нашей жизни. Остатки изжитого московско-татарского византийского феодализма, петербургская бюрократия, полицейско-казарменный режим, бесправие городского и сельского населения, крестьянское общинное землевладение, закабаленное на службу интересам фиска, непреодоленное пространство, пережитки натурального хозяйства, неграмотность народной массы в тисках малограмотного царизма. И при таких условиях индустриализация России совершалась медленно и спорадически, как начиналась европеизация России при предшественниках Петра I.

Витте, в котором было нечто от неукротимой энергии и революционности Петра, всю эту энергию, опирающуюся на самодержавную власть царя, бросил на дело быстрой индустриализации России. /178/

Александр, конечно, ничего в этом не понимал, но он видел, что Витте бескорыстнее, дельнее и умнее окружавших его сановников. Притом, при Витте не было вопроса о том, где взять денег. Деньги у Витте всегда были, дефицитов не было, и царь поддерживал своего министра против его многочисленных сановных врагов.

Впрочем, наряду с врагами, было у Витте не мало и друзей. Витте отлично знал, кого, как и за сколько можно и надо купить.

В своих воспоминаниях Витте с благодарностью говорит о личности Александра III и подчеркивает свою преданность идее самодержавия.

Это и понятно: Александр III, ограниченности которого Витте не мог не видеть, был для такого министра, как Витте, идеальным царем. Он был верен своему слову, он не способен был хитрить и лукавить, он был властен, держал в страхе всю ораву князей, эту язву всякого управления, потому что это люди, для которых закон не писан.

Когда Александр III министру доверял, тот чувствовал себя прочно и уверенно, когда же Александру случалось наткнуться на такое явление, как поступок П. Дурново, выкравшего в личных интересах интимные женские письма из стола иностранного посла, то царь не постеснялся написать хорошо известную яркую резолюцию.

И особенно должен был ценить Витте Александра III после того, как ему пришлось больше десяти лет иметь дело с Николаем II, на которого никто никогда и ни в чем положиться не мог.

Александр III не любил инородцев: финнов, поляков, армян, евреев... но погромов, как узаконенного приема внутренней политики, да еще казенного изготовления, он не только в мыслях не допускал, но даже не понимал.

На докладе Лорис-Меликова по поводу киевского погрома, бывшего в конце апреля 1881 г., Александр сделал пометку:

«Весьма прискорбно, надеюсь, что порядок будет совершенно восстановлен».

На сопроводительной бумаге, при которой царю представлена была копия телеграммы одесского временного /179/ генерал-губернатора об антиеврейских беспорядках, происходивших в Ананьевском уезде Херсонской губ. 26 апреля 1881 г., имеется следующая резолюция Александра:

«Не может быть, чтобы никто не возбуждал населения против евреев. Необходимо хорошенько произвести следствие по всем этим делам».

На докладе Лорис-Меликова о беспорядках в Киеве, происходивших в конце того же апреля, при которых подожжена была еврейская синагога и во время которых прапорщик Леманский обнаружил «поощрительное отношение к погрому», Александр на самом докладе подчеркнул слова, касавшиеся прапорщика, и сбоку написал: «Хорош офицер. Безобразия».

«Что это значит, это повсеместное грабление евреев?» — начертал царь на докладе об антиеврейских беспорядках в Конотопе Черниговской губ.

Впоследствии отрицательное отношение Александра III к еврейским погромам еще усилилось в связи с тем, что преемник Лорис-Меликова на посту министра внутренних дел, Игнатъев, убедил царя, что антиеврейские беспорядки дело рук «анархистов» и «крамольников».

Тогда, в 1881 г., даже Плеве, бывший директором департамента полиции, еще не видел в еврейских погромах обычного приема внутренней политики и в докладе царю привел выписку из записки гр. Кутайсова, обследовавшего погромы.

«Для того», — писал Кутайсов, — «чтобы обратить уличную драку в погром с кровавыми последствиями, нужно было действовать именно так, как действовала нежинская полиция».

«Весьма грустно» — гласит отметка Александра III.

Есть среди этих резолюций и свидетельство патриархального отношения царя к задачам власти: на докладе о беспорядках в Ростове-на-Дону, Александр написал:

«Если-б возможно было главных зачинщиков хорошенько посечь, а не предавать суду, гораздо было бы полезнее и проще». /180/

Так смотрел Александр на дело и в других случаях. Даже с людьми, арестованными на Невском с бомбами в форме книг в руках, Александр предпочел расправиться келейно, без излишней гласности и без шума.

Покушение на Александра III (в котором, между прочим, участвовал А. Ульянов) не удалось. Но самая неудача должна была убедить царя в том, что революционный терроризм возрождается и, что в той тишине, которую, казалось, удалось ему водворить в России, не все столь благополучно, как его уверяли придворные льстецы.

Россия вошла в какой-то глухой тупик и топталась на одном месте. Наступила почти такая же кладбищенская тишина, как при Николае I.

Царь прилепил всю мощь своего самодержавия к мертвому и вполне безнадежному делу

сословного поместного дворянства. А страна уже пережила сословные разделения, все ярче обозначалась в ней борьба классов, все определеннее выступали политические вожеления выросшей буржуазии, самодержавие становилось все более резким анахронизмом, и что-то новое стало проявляться даже в психике Александра III. Правда, он соображал туго, и течение неизбежного исторического процесса оставалось для него неясным, но реакционный восторг первых лет его царствования уже остыл и слишком явно отразилась даже на командующих высотах необходимость какого-то поворота. Однако, судьба избавила неповоротливого мыслителя царя от тяжести «шапки Мономаха».

Быстро развившийся нефрит освободил Россию от этого тупого и ограниченного гиганта, свободно ломавшего подковы и гнувшего рукой серебряные рубли.

Всего тринадцать лет просидел Александр III на прародительском престоле в спокойном непонимании России, в блаженном неведении неизбежных исторических судеб давно изжившего себя самодержавия и царизма.

Почти все эти годы прожил Александр III узником в Гатчине, точно человек, «лишенный столицы», по русской полицейской терминологии. /181/

«Возлюбленный и обожаемый» монарх не смел носа высунуть за пределы той крепости, в которой он заперся от «обжавшего» его народа. Выезды царя в столицу или в Крым обставлялись прямо скандальными предосторожностями, и возмущавшими, и смешившими всю Россию и всю Европу.

Задолго до проезда «гатчинского узника» по всему пути на тысячи верст расставлялись солдаты с ружьями, заряженными боевыми патронами. Солдаты эти должны были стоять спиной к железнодорожному пути, а лицом — и заряженными ружьями — к стране. Железнодорожные стрелки наглухо забивались. Пассажирские поезда отводились заблаговременно на запасные пути, станционные помещения со всем их населением запирались и с известного момента все управление пути переходило к военному начальству. Никто не знал, в каком поезде «следует» царь, вообще «царского» поезда не было, а было несколько поездов «чрезвычайной важности». Все они были замаскированы под царские и никто не знал, какой настоящий.

Все это не помешало крушению в Борках, где, как предполагают, царь и получил травматическое повреждение, повлекшее за собою болезнь почек.

Впрочем, болезнь эта развилась еще и оттого, что «хозяин России», владевший десятками грандиозных дворцов, пребывал узником в Гатчине, где жил в сырых комнатах.

Эти сырые комнаты, обострившие болезнь Александра III, сведшую его в могилу, очевидно, сродни тем клопам, которые водились в детских комнатах вел. кн. Александра и Николая Павловичей.

Русский двор поражал иностранцев своей необычайной, азиатской пышностью. Нигде в мире уже нельзя было видеть такой безумной роскоши приемов. Но подлинная культурность царизма вернее всего определяется этими клопами и сыростью.

* * *

Александр III увековечен был двумя памятниками. В Москве, на высоком берегу Москвы-реки, у храма спасителя, на роскошном пьедестале, сидела гигантская /182/ фигура царя со всеми атрибутами самодержавия: с короной на голове и со скипетром в руках. Из-под царской мантии выдвигалась нога в грубом солдатском сапоге. И не корона, не скипетр, а именно этот тяжелый бронзовый сапог придавал своеобразный символизм всей фигуре. Этим сапогом последний самодержец, казалось, придавил Россию тяжело и крепко, но ранняя неожиданная смерть не дала ему познать плоды этой политики полицейского сапога.

Московский памятник снесен революцией, но остался другой памятник — петербургский. Этот памятник и революция, по справедливости, пощадила, столь он выразителен в своей художественной убедительности.

Среди бесчисленных нелепостей и недоразумений царствования Николая II заметное место занимает и этот памятник, сооруженный любящим сыном обожаемому отцу.

По типичному недомыслию своему, бездарнейший сын Александра III поручил сооружение памятника отцу даровитейшему художнику, кн. Трубецкому.

Павел Трубецкой, выросший и воспитывавшийся в Италии, России не знал, русского языка не понимал и в жизни своей не прочел ни одной русской книги. И тем не менее он почувствовал и понял Александра III, его царствование и его эпоху так, как не понял бы из сотни книг.

Нигде в мире нет ни одного памятника, который бы так полно воплотил и символизировал идею тупого застоя.

И этот массивный, цвета запекшейся крови, пьедестал, и этот тяжелый, нескладный, полупридушенный конь, и этот грузный всадник, похожий на разжиревшего урядника, который всей своей фигурой выражает: «Стоп, ни с места!» — все это так монументально, во всем этом такой пафос ограниченности и застоя, что лучшего, более убедительного и выразительного памятника Александру III и эпохе его царствования не придумал бы и злейший враг самодержавия и царизма.

Этот памятник по праву может занимать место рядом с вдохновенным Петром Фальконета. /183/

Там — воплощение революционного порыва, создавшего начало петербургского периода русской истории.

Здесь, через 200 лет, — конец самодержавия и царизма.

Весь путь пройден до конца, дальше некуда идти. Дальше уже судороги Николая II, агония, мучительные и отвратительные конвульсии.

И революция обнаружила большое художественное чутье, сохранив этот памятник. И не только этот. Типично и бронзовое увековечение конногвардейского восторга в Клодтовском Николае I, и русская стилизация почти гениальной немки, превратившей свою женскую юбку в императорскую мантию и державшей под нею Россию слишком тридцать четыре года. Она величаво стоит на огромном пьедестале формы русского церковного колокола, а вокруг колокола, под юбкой «царственной жены», приютились ее «екатерининские орлы», фавориты и блестящие царедворцы, военачальники и политики, придавшие такой внешний блеск ее царствованию. И все это на фоне гениальных фасадов Росси.

Иное дело монумент Александра III.

Он стоит на грязноватой и шумной вокзальной площади, среди снующей толпы, точно колоссальный щедринский будочник Мызрецов, и олицетворяет принцип:

— Тащить и не пущать. /184/

Николай II

1. Венчанная пошлость

В начале воцарения Николая II в Петербург приезжал принц Уэльский. Будущий король Эдуард VII был дядей Алисы Гессен-Дармштадтской — императрицы Александры Федоровны.

Во время одного из завтраков, когда Эдуард, Александра и Николай остались втроем, дядя, обратившись к племяннице, вдруг сказал:

— Как профиль твоего мужа похож на профиль императора Павла, — что очень не понравилось,

как отмечает Витте в своих воспоминаниях, как императору, так и императрице.

В разговоре с П.Н. Дурново, Витте сказал, что Николай производит на него впечатление совсем неопытного, но и неглупого, а главное, весьма **воспитанного** молодого человека.

На это П.Н. Дурново заметил:

— Ошибаетесь вы, Сергей Юльевич, вспомните меня — это будет вроде копии Павла Петровича, но в настоящей современности.

— «Я затем часто вспоминал этот разговор», — говорит Витте. — «Конечно, император Николай не Павел Петрович, но в его характере немало черт последнего и даже Александра I (мистицизм, хитрость и даже коварство), но, конечно, нет образования Александра I. Александр I по своему времени был одним из образованнейших русских людей, а император Николай, по нашему времени, обладает средним образованием гвардейского полковника хорошего семейства». /187/

На русский престол вступил неожиданно для всех — Александр III умер, не достигнув 60 лет — 26-ти-летний молодой человек, маленького роста, невзрачный и застенчивый.

И когда, менее чем через 3 месяца после своего воцарения, этот молодой человек, в котором не было решительно ничего царственного, встретил съехавшихся и явившихся к нему во дворец с поздравлениями солидных общественных деятелей знаменитым окриком о «бессмысленных мечтаниях», то это было не страшно, а только жалко и комично. Несчастный царь, который грозился следовать по стопам папеньки, производил впечатление «подростка, который путается в отцовских штанах».

Было в этом молодом человеке нечто от Павла Петровича, но было нечто и от Петра Федоровича, несчастного супруга Екатерины II. Было и нечто от Федора Иоанновича, не от того царя Федора, которого так идеализировал Алексей Толстой, а от «скорбного главою» исторического, неспособного к делу управления царя.

Когда после долгих цензурных мытарств была разрешена постановка «Царя Федора», публика в некоторых сценах трагедии упорно видела аналогию с царем Николаем II, а в Годунове улавливала черты сходства с Витте.

Последнего Романова роднило с последним Рюриковичем богомольное пустосвятство и печать исключительной бездарности, неизменно сопровождавшей все его начинания.

Разные бывали цари на Руси, по разному играли они свои исторические роли, но страшнее, кровавее всех был этот вежливый, воспитанный и застенчивый невзрачный Николай второй, начавший Ходынкой и кончивший Распутиным. Ни один царь, даже такой патологический палач, как Иван Грозный, «мучитель и мученик», которого Пушкин назвал «гнев венчанный», не стоил России столько крови.

Между тем, он не был ни особенно жесток, ни грозен.

Николай был по преимуществу обыватель, мелкий /188/ и мелочный, с истинно-мещанской душой. Он был воплощением обывательской пошлости. Недаром он был современником величайшего после Гоголя бытописателя серой, нудной, обывательской жизни. Николай был чеховский тип.

Александр I был неудавшимся декабристом, Николай I был убежденным жандармом и прямолинейным фронтовиком, Александр II был мягкотелый либерал сороковых годов, испуганный радикализмом шестидесятников, Александр III был убежденным земским начальником из потомственных дворян, — нечто среднее между Тарасом Скотининым и Собакевичем. Все они могли быть страшны, жестоки, тупы, но пошлыми их назвать нельзя было. Только с воцарением Николая II на всероссийский престол воссела пошлость.

И эта венчанная пошлость была хуже и страшнее «венчанного гнева» такого садиста, как Иван Грозный.

Впрочем, вначале Николай II мало проявлял себя. Он действительно старался идти по «стопам папеньки», точно чувствуя, что сам он никакого пороха не выдумает.

Отец был строг, и при нем сын не смел проявлять даже обычного «либерализма кронпринцев». Так как никто не ждал скорой смерти такого здоровяка, как Александр III, то о наследнике как-то мало думали и мало им интересовались. Довольствовались слухами о том, что молодой человек, обнаруживавший некоторые, часто свойственные молодым людям порочные наклонности, был с гигиенической целью, с соизволения мамы и стараниями придворных, сведен с известной балериной, что у этой балерины появился шикарный особняк на одной из лучших улиц столицы. Сплетничали, что балерина эта жаловалась на невыгодность такой связи, так как платили ей всего 10.000 руб. в месяц, а наследника, бывшего у нее очень часто, приходилось угощать тонкими, дорогими винами. С другой стороны, обыватели, по типичной обывательской психологии, ждали от этой связи смягчения нашей польской политики, так как высочайшая фаворитка была полька.

Александр III, кажется, один только не знал об этой почти публичной связи своего сына. Он был родитель /189/ и семьянин твердый и строгий, в стиле Кит Китыча, и, как часто бывает с такими строгими господами, не видел многого из того, что творилось у него перед носом.

Когда Александр III умирал в Ялте и не могли помочь ему ни врачевание Иоанна Кронштадтского, ни колдование идола московских толстосумов, профессора Захарьина, поспешно была выписана из Германии Алиса Гессен-Дармштадтская и помолвлена с наследником. Она раньше как-то приезжала в Петербург, но тогда не понравилась и была отослана ни с чем. А тут уже раздумывать и выбирать было некогда.

Здесь не было и тех неосновательных надежд, которые связаны были с появлением в роли русской императрицы датчанки Дагмары, Марии Федоровны.

В юной императрице видели типичную немецкую принцессу, одну из многих, неизменно появлявшихся на русском престоле. Впрочем, Александра Федоровна отличалась чисто английской чопорностью, так как на всем ее облике была печать не made in Germany, а made in England.

Впервые проявил себя юный царь в Москве во время коронации.

18 мая 1895 года на Ходынском поле, благодаря бестолковости и бездарности московской полиции, было задавлено на смерть, изувечено и искалечено несколько тысяч человек, мужчин, женщин и детей.

Эта ужасная катастрофа, вызванная организацией раздачи жалких царских подарков народу, вызвала всеобщее чувство ужаса.

Но Николая убедили, что этот ужас не должен помешать коронационным торжествам. И концерт, назначенный на тот же день на том же Ходынском поле, через несколько часов после того, как это поле было усеяно тысячами раздавленных людей, не был отменен и Николай приехал на этот концерт.

Вечером того же дня должен был состояться бал у французского посла — и бал, по настоянию свыше, не был отменен, и царь с царицей посетили этот бал, как ни в чем не бывало.

«Хозяином» Москвы в это время был дядя Николая, /190/ Сергей Александрович, самый тупой, злобный и самый бездарный из сыновей Александра II, из которых никто, Впрочем, не подымался над самой серой посредственностью. И генерал-губернатор Москвы после Ходынки не только не подвергся никакой ответственности, но даже не был отозван со своего поста.

Тут царь Николай II в самый торжественный момент своего царствования обнаружил и перед Москвой, и перед всей Россией и перед всем миром все свое моральное убожество.

Все понимали, что возмутительное отношение царя к его «гостям» из народа, к жертвам Ходынской катастрофы — не проявление сильной, хотя и жестокой воли, которая, невзирая ни на что, идет своим путем. По самой личности Николая II, мелкой и ничтожной, было слишком ясно, что это лишь проявление того психического убожества, которое вообще характерно для всего

неудачливого жития последнего Романова и которое прекрасно можно было бы выразить словами Тургенева:

«Сидит человек по уши в грязи и показывает вид, что ему все равно, когда ему на самом деле все равно».

Сразу обрисовался этот царь-недотепа, этот ходячий «двадцать-два несчастья».

Тогда же произошел незначительный инцидент, о котором нигде не было сообщено. О нем лишь теперь рассказывает б. министр Извольский в своих воспоминаниях.

Как камергер двора, Извольский был назначен вместе с шестью другими камергерами поддерживать императорскую мантию, которую царь надевал во время ритуала вручения ему скипетра и державы перед возложением на голову императорской короны. В самый торжественный момент церемонии, когда Николай проходил к алтарю, чтобы совершить обряд помазания, бриллиантовая цепь, поддерживавшая орден Андрея Первозванного, оторвалась от мантии и упала к ногам царя. Один из камергеров, поддерживавших мантию, поднял цепь и передал министру двора, графу Воронцову, который положил ее в карман. /191/

Все это произошло очень быстро, и заметили это только лица, находившиеся около царя, которым после церемонии приказано было об этом умолчать. Но на Николая, только что пережившего Ходынскую катастрофу и по природе склонного к суеверию, этот случай произвел удручающее впечатление и оставил глубокий след в его слабой, неустойчивой психике. /192/

2. Черты характера

Самым умным и даровитым из советников Николая II были Победоносцев и Витте.

Убежденный апологет застоя, Победоносцев, этот черный нигилист, веривший только в силу насилия, и ловкий, энергичный, дельный и беспринципный Витте были самыми выдающимися государственными людьми последних двух царствований.

Оба они достались Николаю по наследству от отца. Сам он тяготел только к посредственностям и бездарностям. Но с Витте и с Победоносцевым Николай считался лишь постольку, поскольку они потворствовали его мелкой и близорукой личной политике.

Моральная оценка людей и у Витте, и у Победоносцева не отличалась особой требовательностью, но и эта нетребовательность была еще слишком высока для Николая. В выборе людей, в назначении своих министров царь опускался гораздо ниже своих авторитетнейших советников.

Когда понадобилось назначить нового министра внутренних дел, Николай остановился на двух кандидатах: Плеве и Сипягине.

На ближайшем докладе Витте царь поинтересовался его мнением об этих кандидатах. Витте, хотя и в достаточно дипломатической форме, высказался об обоих кандидатах совершенно отрицательно. В Сипягине он отметил его неподготовленность, а в Плеве полное отсутствие убеждений и совершенную беспринципность. /193/

Тогда Николай попробовал почерпнуть сведения из другого источника. Он знал, что Витте и Победоносцев обыкновенно резко расходятся по основным вопросам, и он обратился за советом о кандидатах к Победоносцеву.

Старый обер-прокурор не был столь дипломатичен, как Витте, притом он был более уверен в прочности своего положения и менее считался с характером Николая, своего бывшего воспитанника.

Победоносцев заявил с исчерпывающей откровенностью:

— Сипягин дурак, а Плеве — подлец.

Николай выслушал это сообщение молча. Получив столь определенную и согласную оценку своих кандидатов от людей столь различного характера и столь несомненной опытности, Николай назначил в последовательном порядке обоих. Сначала «дурака» Сипягина, а когда тот, за свою невыносимо глупую политику, на которую его усиленно толкал сам Николай, был убит, то был назначен «подлец» Плеве, который за свою подлую политику тоже был убит.

Витте в своих «Воспоминаниях» очень тепло относится к Сипягину. Он не отрицает его глупости, непонимания, узкой дворянской реакционности, но характеризует его как человека честного, бесхитростного и прямого.

Но для Николая Сипягин представлял особую ценность: Николай мог считать себя умнее своего министра, а такое удовольствие Николаю доставалось не часто.

«Он знал, что находится в большой опасности», — говорит Витте о Сипягине в своих «Воспоминаниях». — «Перед самой смертью, за несколько дней, я с ним вел беседу в присутствии его жены и говорил ему о том, что в некоторых случаях, по моему мнению, он принимает чересчур резкие меры, которые по существу никакой пользы не приносят, а между тем возбуждают некоторые слои общества, и слои благонамеренные, и, во всяком случае, умеренные, на что он мне сказал: может быть, ты прав, но иначе поступить я не могу, наверху находят, что те меры, которые я принимаю, недостаточны, что нужно быть еще более строгим». /194/

После убийства Сипягина дворцовый комендант Гессе, получивший личные бумаги, оказавшиеся в кабинете Сипягина, две тетради его дневников передал царю.

Через несколько дней, когда вдова Сипягина явилась благодарить царя за внимание, Николай сообщил ей, что дневники мужа находятся у него, и просил разрешения задержать их для прочтения. Вдове, конечно, пришлось согласиться. Прошло много месяцев, и дневников ей не возвращали. Тогда она, через племянника своего, флигель-адъютанта Шереметьева, решила напомнить Николаю о дневниках.

Затем, при одном из ее представлений царице, к ней вышел Николай, вручил ей пакет и сказал, что с благодарностью возвращает ей мемуары ее покойного мужа, которые очень интересны.

Возвратившись домой, Сипягина увидела, что в пакете находится только одна тетрадь мемуаров, та, в которой были записи за время, когда Сипягин был главноуправляющим комиссии прошений, второй же тетради, в которой были записи за время, когда Сипягин был министром внутренних дел, — не оказалось.

Сипягина обратилась за разъяснением недоразумения к старику Шереметьеву, тот — к Гессе. Гессе сказал Шереметьеву, что передал царю все, что получил, т.е. обе тетради.

Дурново, который вместе с Гессе по поручению Николая разбирал бумаги Сипягина, также удостоверил, что он передал Гессе две тетради мемуаров.

Когда Шереметьев завел об этом разговор с Николаем, тот стал увертываться и заметил, что Гессе не был в ладах с Сипягиным и, найдя в мемуарах что-нибудь нелестное для себя, вероятно, их уничтожил. Шереметьев же сказал Витте:

— А я знаю достоверно, что эту тетрадку уничтожил сам государь.

«Я мемуаров Сипягина не читал», — говорит Витте, — «но жена его мне говорила, что он писал в них все совершенно откровенно. Сипягин же был честнейший и благороднейший человек, совершенный дворянин, ультра-консерватор; он в последние полгода своего /196/ министерства откровенно и с большой горечью мне говорил, что на государя полагаться нельзя и, главное, государь неправдив и коварен. Это он в отчаянии говорил и своей жене».

Так как Витте в этом эпизоде ничем лично не заинтересован, то тут его «Воспоминаниям» можно

верить вполне.

Итак, Николай II, царь и самодержец всея Руси, украл у вдовы убитого из-за него министра тетрадь мемуаров, а потом увертывался, лгал и старался свалить это воровство на одного из своих слуг.

Николай I тоже уничтожил в дворцовых хранилищах множество ценных исторических документов. Но он, кажется, при этом не лгал, не увертывался и не клеветал на других.

Николаю II часто приходилось уступать своим министрам и сановникам, особенно таким настойчивым, как Витте или Столыпин, и таким юрким, как Плеве, или таким по-солдатски упрощенным и решительным, как Трепов. Он почти никогда не оказывал прямого противодействия, но всякая такая «победа» дорого обходилась его слугам. Царь трусливо затаивал «обиду» в душе и затем коварно мстил, выжидая случая.

Это испытали на себе все: и Плеве, смерти которого Николай почти открыто обрадовался, и Столыпин, которого он в конце стал третировать с присущей Николаю мелочностью. Во время киевских торжеств, при поездке по Днепру для Столыпина не оказалось места ни на царском, ни на свитском пароходе. Испытали это еще в большей мере и Витте, и даже Победоносцев.

Витте, бывшему противником Победоносцева и настаивавшему на его уходе, пришлось хлопотать, чтобы старик был отставлен с соблюдением приличий, а не узнал об этом неожиданно из газет, и чтобы за ним была оставлена его казенная квартира.

Чувство благодарности было, по-видимому, совершенно чуждо Николаю II. Никакие заслуги перед ним, никакие жертвы, для него принесенные, не обеспечивали положения, не гарантировали от обид, коварства и каверз. /196/

Те же качества проявлял Николай и в отношениях международных. Будучи в союзе с Францией, он в Бюрке, по секрету от своих собственных министров, заключил и подписал тайное соглашение с Вильгельмом. Такое же коварство он проявил по отношению к Китаю, и довел дело до Японской войны.

Его внешняя податливость создала ему, особенно в молодости, репутацию обаятельности в личном общении. Он казался таким симпатичным, мягким и скромным, что за этим многие не сразу замечали мелкое коварство, моральную нечистоплотность, прямо нечестность.

В свое время и Павел Петрович, когда с молодой женой совершал путешествие по Европе под именем графа и графини Северских, тоже произвел обаятельное впечатление даже при избалованном французском дворе. Там нашли русского наследника приветливым, милым своею непринужденностью, даже остроумным... /197/

3. Красноречие слов и дел

В Харьковской губернии были крестьянские волнения. Губернатор князь Оболенский усмирял, а усмирив, устраивал поголовные, в губернском масштабе, порки крестьян. Губернатор самолично объезжал усмиренные местности и самолично же распоряжался поркой. Эти расправы чрезвычайно радовали Николая, который запечатлел резолюцией, что губернатор «молодец».

На Кавказ был послан другой князь — Голицын, человек необыкновенной глупости, злобности и взбалмошности.

Он в самое короткое время сумел восстановить весь Кавказ против русского владычества и русских порядков. Голицын сумел достигнуть даже того, что до него никому не удавалось: острая национальная рознь между грузинами и армянами, армянами и мусульманами — потеряла свою остроту, потому что все, и даже большинство русских, объединились в общем чувстве ненависти против царского сатрапа. Николай вполне одобрял политику Голицына, самая подлая русская печать, с «Новым временем» во главе, захлебывалась от восторга.

Голицын, с царского благоволения, пошел даже на то, на что никогда не покушались ни турки, ни персы.

Он наложил свою полицейскую лапу на армянские церковные имущества. Это имело огромное значение потому, что у армян церковь живая. Вся благотворительность, все дело национальной культуры и национального образования тесно связаны с церковью, и никакие /198/ мусульманские зверства никогда не покушались на эту интимную духовно-национальную сторону армянского быта. Только православный русский царь, «защитник христианства», позволил своему холопу так грубо вторгнуться в эту область.

Такую же политику и с таким же успехом вел Николай в Финляндии, послав туда Бобрикова и занявшись «обрусительством».

Ни Николай I, ни Александр III в своем упоении самодержавием, в своей непримиримой ненависти ко всяким проявлениям конституционности, не позволяли себе так грубо нарушать финляндскую конституцию. Они все же считали себя связанными словом Александра I.

Николай II, трусливый и безвольный, и тут проявил свое коварство, и дождался убийства Бобрикова.

Как известно, Николай II не был ни красноречив, ни находчив. Люди, представлявшие ему, в особенности знатные иностранцы, часто попадали в мучительно-неловкие положения. Царь не находил нужных слов и не умел придумывать ненужных, безразличных. Получались тягостные паузы.

После революции 1905 г. кто-то надоумился выпустить маленькую книжку: «Собрание речей его императорского величества Николая II». В этой книжечке были собраны только изречения и телеграммы, в свое время напечатанные в «Правительственном Вестнике», и приведены без всяких комментариев. Получилось нечто поразительное, такой махровой глупостью и бездарностью повеяло от этого букета.

С утомительным, удручающим однообразием повторялись шаблонные, бесцветные фразы, почти одни и те же на все случаи.

Полиция поспешила изъять эту брошюру из обращения, настолько эта стенографическая «правда» оказалась «хуже всякой лжи».

Вообще обычные фразы Николая II: «Пью здоровье» и знаменитое «Прочел с удовольствием» набили оскомину всем его «верноподданным».

Впрочем, не все и не всегда Николай «читал с удовольствием». /199/ У него были свои взгляды и свои установившиеся мнения, которые он при случаях и выражал.

П.Е. Щеголев, пересмотревший несколько сотен всеподданнейших докладов, цитирует некоторые такие высочайшие резолюции, которые особенно ярко отражают психику царя.

27 сентября 1912 г. военный министр ген. Сухомлинов докладывал царю, что невозможно

«обеспечить в настоящее время церковными причтами те части, которые их по штатам не имеют», ибо, — объяснял министр, — «едва ли последует согласие министерства финансов и государственного контроля на ассигнование новых кредитов».

Царь «изволил начертать»:

«Военное ведомство обязано потребовать кредиты на удовлетворение важнейшей нужды в войсках. Упадок веры грозит началом нравственного разложения человека, особенно русского. Тут мало значит мнение того или другого — **раз я этого хочу**».

Последние слова Николай подчеркнул.

Тут, в этой резолюции, и целое мировоззрение, и своеобразная философия, и программа.

Во-первых, утверждение своего самодержавия: «я этого хочу». Это особенно комично звучит в устах царя, который именно хотеть-то и не умел. Как все бесцветные люди, Николай II любил подчеркивать не просто свою волю, а свою царскую «непреклонную» или «неизменную» волю, от которой неизменно ему приходилось — и очень скоро — отклоняться, нередко в противоположную сторону.

Затем, в резолюции сквозит уверенность в особой природе русского человека, которому религия нужнее, чем другим людям.

И еще выявлено сознание важности агитационной роли религии.

Религию Николай, конечно, понимал, главным образом, со стороны ее обрядности.

«Горестно», начертал Николай против слов доклада владимирского губернатора, доносившего в 1908 году, что в

«среде самого православного населения, особенно сельской молодежи, за последнее время замечается /200/ упадок религиозности, сопровождающийся уклонением от посещения храмов божиих и от исполнения установленных православной церковью обрядов».

Вообще коронованный обыватель, правивший Россией, весьма заметно отстал и в своем общем развитии, и в своем мировоззрении от современного ему среднего русского обывателя, не только столичного, но и провинциального.

Обыватель, который стоял бы против народного образования, против всеобщего обучения, стоял бы во времена Николая II ниже среднего обывательского миропонимания.

Олонецкий губернатор, думая, вероятно, угодить молодому царю, в своем отчете за 1896 год сообщает, что за год в его губернии открыто 117 народных школ, что это делается **«в целях скорейшего осуществления плана всеобщего обучения»**.

Последние слова Николай II подчеркнул и против них написал: «излишняя торопливость **совсем нежелательна**». Последние слова своей резолюции царь также подчеркнул, чтобы этой струей холодной воды вернее остудить пыл наивного губернатора, вообразившего, что молодой царь желает расширения народного образования.

Но были и такие доклады, которые радовали царское сердце.

Виленский губернатор в отчете за 1897 год писал, «что введение питейной реформы последовало вполне успешно и было встречено сочувственно всеми классами христианского населения».

Это христианское отношение к казенной водке очень обрадовало Николая, и он «начертал»: «Прочел с удовольствием». А на подобное же сообщение полтавского губернатора выразился еще красноречивее, начертав:

«Отрадно видеть такое сознание самого народа».

Николай II не всегда восставал против народных школ. Иногда он с ними мирился.

Так, в 1896 году полтавский губернатор в своем отчете пишет, что школы вверенной ему губернии, как земские, так и церковно-приходские, по духу и характеру ничем не разнятся между собою: и в тех, и в других /201/ преподавание ведется «на одной общей основе православия и преданности царю и отечеству».

Царь подчеркивает эти слова и пишет свою сентенцию:

«В сохранении этих начал, присущих каждому русскому сердцу, зиждется залог настоящего развития у нас народных масс».

Уверенный, что он знает психику «народных масс», царь относится очень недоверчиво к рабочим. Тут он, по-видимому, не надеется на влияние церкви, а больше верит в полицию и настаивает на усилении кадров фабрично-заводской охраны.

Беспокоят Николая и будто бы крупные заработки рабочих. Против упоминания об этом екатеринославского губернатора имеется высочайшая отметка:

«Обратить на это самое серьезное внимание министра финансов».

В то же время Николай очень часто приводил в замешательство министра финансов приказами о выдаче крупных сумм в сотни тысяч, а иногда и миллионов из кассы государственного или дворянского банков вне устава, вне правил и вне закона разным проходимцам и аферистам из знати и дворян. Таким же сверхзаконным путем выдавались и крупные ежегодные подачки издателю «Гражданина», князю Мещерскому, и даже его любимцам из продажных молодых людей, угождавших старому развратнику.

Когда Николаю сообщали неприятную правду, когда ему сановники и министры докладывали и предлагали то, что ему не нравилось, он никогда почти не находил доводов для возражений. Николай в таких случаях молчал или поворачивался спиной к собеседнику, глядел в окно, барабанил пальцами по стеклу. Лишь в редких случаях он обнаруживал столько находчивости, чтобы перевести разговор на другое, обыкновенно на какой-нибудь пустяк, не имевший никакого отношения к затронутому вопросу. Иногда он отделялся кратким заявлением: «Я подумаю».

Краткость ответов и резолюций Николая II не знаменовали ни силы, ни сжатости твердого решения. Эта /202/ краткость и лаконичность свидетельствовали только о краткомыслии царя, да еще об упрямстве.

А упрямство это, при внешней податливости, обуславливалось у Николая сознанием своей слабости, умственной и волевой.

Сознавая свое безволие и зная, что и другие достаточно осведомлены об этой его слабости, Николай всегда был настороже, всегда боялся, что его обойдут, подчинят своей воле. Не умея дать ни логического, ни прямого волевого отпора своим оппонентам, он замыкался в себе, отмалчивался и затем делал все наоборот, — крадучись, коварными, обходными путями, действуя опять-таки не самостоятельно, а большей частью под другими, менее прямыми, более хитрыми и менее заметными влияниями, под влияниями «темными», которым он при своем разностороннем убожестве противостоять не мог.

При своем безволии Николай очень ценил в исполнителях проявления прямолинейной, ни перед чем не останавливающейся жестокости. Всякие репрессии, карательные экспедиции, расстрелы, опустошительные приемы административного упоения неизменно вызывали краткие одобрительные и поощрительные резолюции царя.

При Николае II стали возможны такие градоправители, которые далеко оставляли за собой щедринских помпадуров из «Истории одного города». Толмачевы, Каульбарсы и даже совершенно невозможный Думбадзе, который ходил на обывателей артиллерийским боем, сжег дом, из которого было произведено покушение, — все эти ошалелые сатрапы пользовались неизменной поддержкой и особым поощрительным покровительством царя. Всякое проявление насилия убогий и бессильный царь принимал за проявление силы и восторгался им.

И уступал Николай II только силе. Ни доводы разума, ни сознание ответственности, ни призывы совести не действовали на него. Только с перепуга, только прижатый к стене, как было в 1905 году, Николай шел на уступки с затаенным и всегда им осуществлявшимся /203/ намерением обмануть, отомстить, взять назад все уступки, как только гроза минует.

У Николая не было никакой нравственной брезгливости. Он был любопытен настолько, что воровал чужие дневники и с особым удовольствием читал доставлявшиеся ему перлюстрированные письма, от чего в свое время уклонился даже немудреный Александр III. Тут Николай не шел даже «по стопам папеньки». Николай отлично знал, как устраиваются казенным иждивением погромы, знал, что представляет собою «союз русского народа», и принимал и поощрял не только Пуришкевича, который еще был слишком хорош для него, но даже доктора Дубровина, зная, что тот организует убийства из-за угла.

Столь чтимый царем «союз русского народа» был организацией уголовной более, чем политической, но благодаря царю все эти воры, убийцы и погромщики пользовались уголовным иммунитетом.

Погромщиков и убийц арестовывали и судили только для видимости. Впрочем, и арестовывали только мелких сошек. К главарям ни полиция, ни юстиция не смели приступить, даже, если бы они этого пожелали. Но у николаевско-щегловитовской юстиции и желания обыкновенно не бывало. Да и суд, который нужен был только для Европы, оказывался неприличной комедией. При всем пристрастии казенной юстиции к погромщикам, царь неизменно пускал в ход свою державную прерогативу помилования даже по отношению к тем преступникам, которых угодливый и растленный щегловитовский суд не мог не обвинить.

И эти помилования погромщиков стали общим правилом.

И неудивительно, что даже у самых умеренных людей, которые готовы были мириться и с окончательно исподличавшимся царизмом, и самой куцей конституцией, в конце-концов сложилось такое настроение, что лучше ужасный конец, чем этот ужас без конца.

И в 1905 году мы видели типичных обывателей, мелких лавочников, дворников, которые в Москве снимали у себя ворота и растаскивали заборы, чтобы дать революционерам материал для баррикад. /204/

Других царей часто ненавидели, иногда любили, чаще боялись, Николая II — презирали в России и за границей. Слово «дурак» стало в России опасно произносить, потому что без дальнейших добавлений и объяснений оно стало считаться «оскорблением величества».

За границей в книге, напечатанной о Николае еще в 1909 году, между прочим сообщается, как факт, что когда Николаю принесли телеграфный доклад об убийстве в Москве его любимого дяди Сергея Александровича, Николай по привычке подмахнул на этом докладе:

«Прочел с удовольствием».

И таким анекдотам верили. /205/

4. Внешняя политика

Николай II был инициатором Гаагской мирной конференции.

Среди бешеной вакханалии бесконечных вооружений, разорявших народы Европы хуже всякого глады и мора, призыв к ограничению вооружений, исходивший от повелителя и главы армии огромной военной империи, должен был прозвучать, как первое евангелие мира, как благая весть нового поворота в мировой истории.

Но ни для кого из европейских дипломатов не была тайной истинная подкладка возвышенной и гуманной фразеологии русского царизма.

В России шло в то время перевооружение пехоты. В Австрии в это время затеяли перевооружение и значительное усиление артиллерии. Русские военные специалисты считали состояние нашей артиллерии удовлетворительным и не уступающим артиллерийскому вооружению других европейских государств. Но затеянное Австрией усиление артиллерии нарушало равновесие, и для уравнивания шансов пришлось бы усилить значительно и нашу артиллерию, что при начавшемся уже

переворужении пехоты, было бы нам не по силам в финансовом отношении.

Отсюда и возникла наивная идея Николая предложить Австрии не увеличивать своего вооружения с тем, чтобы и Россия не увеличивала своего.

Когда в возникших по этому поводу при министерстве иностранных дел совещаниях выяснилась вся дилетантская наивность такой постановки вопроса, идея /206/ была облечена в менее конкретные, более общие формы, против которых ничего нельзя было возразить по существу, по крайней мере публично.

Кто же решился бы взять на себя ответственность за уклонение от изыскания средств для облегчения тягости войны и бремени военных расходов?

Но все это происходило через несколько месяцев после того, как Николай II, под влиянием бывш. великого князя Александра Михайловича, Куропаткина и других, захватил, под видом аренды у Китая, Квантунский полуостров. Поэтому никто миролюбию царя не поверил, и из Гаагской мирной конференции ничего не вышло. Никакого ограничения вооружения не было установлено, а были лишь выработаны некоторые положения о приемах ведения войны, и все эти положения систематически нарушались всеми воюющими во всех последующих войнах.

Эта «аренда» Квантунского полуострова в конце-концов и втянула Николая в злосчастную войну с Японией.

Как велась эта война и как она кончилась — достаточно известно.

Николай отличался совершенно исключительной способностью подбора бездарностей во всех важных случаях своего несчастного царствования. Исключением был один Витте, который, при всей своей беспринципности, был умнее, даровитее и честнее других. Но Витте достался Николаю по наследству от отца, который вначале обратил на него внимание, как на автора идеи знаменитой «священной дружины», да и то Николай сумел в значительной мере его обесплодить своим собственным двоедушием и бездарностью.

Совершенно трагикомическую фигуру представлял из себя наместник на Дальнем Востоке, а затем главнокомандующий сухопутными и морскими силами, адмирал Алексеев, военачальник, который никогда не слышал ни одного боевого выстрела и ни разу не решился сесть верхом, так как панически боялся лошадей.

Когда, под давлением «общественного мнения», т.е. фальсифицированных патриотических выкриков «Нового Времени», был назначен Куропаткин, дело пошло не лучше. Этот «генерал с душою штабного писаря», похвалявшийся, /207/ «идучи на рать», заключить мир не иначе, как в Токио, все отступал «на заранее заготовленные позиции», и только нерешительность и осторожность японцев, которые сначала думали, что в этих отступлениях скрывается какой-то хитрый стратегический план, на некоторое время задержали окончательное поражение Куропаткина.

Куропаткин боялся японцев, но еще больше боялся он Николая с его дворцовой камарильей, и никогда не отваживался ни на одно твердое решение, так как все оглядывался назад и думал о том, что скажут в Петербурге.

А в Петербурге обнаруживали какую-то изумительную беззаботность. Николай II сохранял свое неизменное тупое спокойствие и, казалось, был ко всему равнодушен. Он не изменил своих привычек, так же правильно, как всегда, совершал свои прогулки, интересовался пустяками, а в самые страшные дни Мукдена и Цусимы занимался любительской фотографией, благодушеествовал в кругу семьи и делал обычные глупости своей внутренней политики.

Николай II не довольствовался той политикой, которую делали его министры. У него была и своя собственная, личная политика, не только внутренняя, но и внешняя. Цари наши вообще ведь считали внешнюю политику своей особой прерогативой, своею царской профессией.

Особенно ярко выступает эта личная внешняя политика Николая в двух случаях: в концессиях на

Ялу и в тайном договоре Николая с Вильгельмом в Биорке.

Оба эти самостоятельные выступления Николая носят все характерные черты, свойственные этому царю: в них поразительная смесь глупости и нечестности. Притом эти выступления имеют все черты «темных» дел, настолько темных, что их пришлось скрывать от собственных министров, даже непосредственно и ведомственно заинтересованных.

Вековое тяготение русской политики к завоеванию моря ярко обнаружилось уже в царствование Иоанна Грозного и обуславливало все наши войны с Ливонией, со Швецией, с Турцией и с европейской коалицией. Даже /208/ война с Наполеоном в истоках своих имела выставленный Наполеоном перед Александром I соблазн раздела Турции и разрешения в интересах России ближне-восточного вопроса.

Перед Россией после-крепостной, перед Россией, все больше сдвигающейся с основ натурального хозяйства, быстро индустриализировавшейся и капитализировавшейся, вопрос о свободном море встал с еще большей остротой. Полуоткрытое Балтийское море уже давно не соответствовало огромности русского континента. Открыть Черное море так и не удалось, и политика завоевания моря устремилась в сторону меньшего сопротивления, к берегам Тихого океана.

Витте втянул Россию в Маньчжурию и Монголию хитро и остроумно, действуя не дубьем, а рублем, основав Русско-китайский банк и проведя Восточно-китайскую железную дорогу по соглашению с Ли-Хун-Чаном.

Весьма вероятно, что и эта тонкая дипломатия, в конце концов, привела бы к войне. Но личное вмешательство в эту политику Николая и толкавших его на авантюры аферистов вело к войне неизбежно и безотлагательно.

Николай, конечно, не знал и не понимал ни силы противника, ни совершенной неподготовленности «собственных» армии и флота.

Эта личная политика Николая состояла из ряда звеньев, связанных между собою.

Первым звеном было данное нехотя Вильгельму согласие Николая на занятие Германией китайского порта, на который ранее притязала Россия. Николай очень скоро понял, что тут он, не умевший никогда действовать прямо и открыто, попал в ловушку.

Самолюбие маленького человека очень страдало от сознания сделанной им глупости, в которой ему стыдно было сознаться перед своими министрами.

И Николай решил собственным умом поправить дело и как-нибудь вывернуться из нелепого положения.

Согласие, вырванное у него Вильгельмом в бытность последнего в Петергофе в 1897 году, противоречило /209/ интересам России, как их понимал Николай, противоречило смыслу русско-китайского договора, который Витте удалось заключить с Ли-Хун-Чаном в Москве во время коронации, шло вразрез, наконец, тому историческому тяготению русской политики и русской экономики к открытому морю, слепым орудием чего был и Николай.

Когда немцы захватили порт Циндау, то Россия, по смыслу московского договора с Китаем, должна была выступить с протестом и заступиться за Китай, неприкосновенность территории которого она гарантировала. На этом и настаивал Витте. Но Николай, который поддался вымогательству Вильгельма и нарушил этим договор с Китаем, совершенно запутался и не мог придумать ничего лучшего, как в свою очередь захватить у Китая кусок территории.

В Китае сначала не могли поверить в такое коварство русского царя и смотрели на подошедшую к Ляодунскому полуострову русскую военную флотилию с десантом, как на заступников от немецкого засилия, но скоро убедились, что русские союзники еще опаснее и жаднее немецких насильников.

Витте опять пришлось выручать личную политику Николая. Ему удалось через своего пекинского агента подкупить Ли-Хун-Чана за 500 тысяч руб. и еще одного влиятельного мандарина за 250 тысяч руб., и от Китая получено было согласие на сдачу России в «аренду» на 36 лет того самого Ляодунского полуострова, из которого незадолго перед тем заставили уйти японцев, занявших его после победоносной войны с Китаем. Против японцев выдвинут тогда был принцип неприкосновенности китайской территории, и Японии пришлось удовольствоваться денежной контрибуцией, для уплаты которой Витте устроил Китаю заем в Париже под русской гарантией.

В воздаяние за эту охрану целостности Китая Россия и получила право провести Сибирскую железную дорогу через китайские владения, выпрямив таким образом путь и сократив его более чем на 500 верст. Тогда же Россия получила преобладающее влияние в Корее, причем русский финансовый советник при /210/ корейском правительстве фактически являлся полномочным корейским министром финансов.

Личная политика Николая привела к тому, что Россия приобрела врагов и в лице обманутого ею Китая, и в лице обиженной Японии, кроме того, взбудоражилась Англия, и пришлось из Кореи уйти, предоставив ее в виде компенсации Японии.

Когда все последствия личной политики Николая обнаружились, царь хотел как-нибудь поправить дело, но опять-таки не прямой политикой, а свойственным ему коварным и обманным путем.

Николая давно уже охаживала банда аферистов, которые толкали его на агрессивную политику на Дальнем Востоке. Во главе этих аферистов шел отставной офицер Безобразов, которого поддерживали б. вел. кн. Александр Михайлович, Абаза, Вонлярлярский и друг.

Безобразов не был заурядным аферистом. Это был фанатик международного мошенничества, человек пустой, глупый и неуравновешенный, полусумасшедший. Его собственная жена не могла прийти в себя от изумления, когда убедилась, что ее нелепый Саша, к которому никто никогда серьезно не относился, играет выдающуюся роль при дворе, и царь находится явно под его влиянием.

Решили, уступив формально влияние в Корее Японии, обойти эту уступку обманным путем. Перекупили у одного владивостокского купца его лесную концессию на р. Ялу, на пространстве 5000 кв. верст, и под предлогом эксплуатации этих лесов собирались ввести в Корею 200.000 солдат, переодетых лесными рабочими.

Целых пять лет охаживал Безобразов Николая, но на аферу нужны были деньги, под официальным флагом ее вести нельзя было, а Николай, хотя и считался «хозяином» этой затеи, из личной шкатулки раскошелиться не любил.

Министры же — и министр финансов Витте, и иностранных дел Ламсдорф — хотя и не смели прямо идти против личной политики царя, все же всячески саботировали эту политику.

Пришлось Николаю дать небольшую сумму (75 т. р.) из кабинетских сумм, а так как лично Николаю все-таки /211/ неудобно было стать участником аферы, то его заместил министр двора Фредерикс, человек, по характеристике Витте, рыцарски благородный, но необыкновенно, почти сверхъестественно глупый, который не только ни в какой политике разобраться был органически неспособен, но даже в хозяйственных делах своего министерства двора ничего сообразить не мог.

Безобразов всячески и очень грубо льстил Николаю, действовал на его истинно-русские чувства, противопоставлял его личную политику «польско-жидовской» политике Витте, и в конце концов, удалось-таки раздобыть на эту аферу казенные миллионы, которые, конечно, быстро и бесследно растаяли.

Япония всю эту аферу быстро разгадала, стала требовать объяснений. Ей ответили уклончиво, лукаво и пренебрежительно, а главное — явно лживо и неубедительно.

И кончилась эта личная политика Николая великим и позорным крахом, с неприличным военачальником Алексеевым, бездарным Куропаткиным, который повез за собой на войну целый

вагон икон, позорным Стесселем, Мукденом и Цусимой.

Во время Русско-японской войны Германия сохранила нейтралитет, т.е. не воспользовалась затруднениями России и не совершила на нее разбойного нападения.

За это она потребовала уплаты. И России пришлось заключить с Германией торговый договор, очень выгодный для Германии и соответственно разорительный для России. /212/

5. Перед «конституцией»

Внешняя политика всегда считалась при царизме высокой или «высочайшей» политикой, царственным делом и самым достойным царским занятием. Наряду с этим военное дело, армия и флот состояли под прямым верховным руководством царя и считались привилегией высшего командующего класса, т.е. дворянства. Народ, преимущественно крестьянство, доставлял для армии и флота только основной материал, т.е. «пушечное мясо» и, само собою, все материальные средства для содержания, снаряжения и вооружения армии и флота... Но все командование было свое, царско-дворянское, и никакое вмешательство со стороны, никакой контроль не смел касаться этой заповедной области.

Когда в этой области получил конфуз Николай I, он умер с досады и горя, может быть, даже отравился, и сыну его пришлось спасать положение и замазывать дело реформами и полуреформами.

Но тогда Россия имела дело с европейской коалицией, а тут безмерно осрамилась в войне с какими-то японцами, которые с европейцами никогда и не воевали и которых Николай II иначе и не называл, как «макаками» и «япошками».

Впрочем, японская война была и мерой политики внутренней.

Плеве, своим изощренным полицейским нюхом чувявший нарастающее в стране недовольство, находил, что для отвлечения нужна «маленькая победоносная война», и всячески провоцировал военную клику. /213/

Но Николай II был лишен и сознания ответственности, и чувства стыда. Он сам и после уроков Японской войны неспособен был сообразить, чего стоит его правление, его правительство и вся система самодержавного царизма.

Нужно было внушение со стороны и это внушение явилось в виде общественного движения 1904 года, всеобщей забастовки и революционных вспышек 1905 года.

Пришлось Николаю мириться с «бессмысленными мечтаниями», выслушивать требования и идти им навстречу.

Витте в своих воспоминаниях настойчиво выгораживает себя от активного и инициативного участия в составлении манифеста 17 октября и вообще от авторства злосчастной русской конституции. И в этом случае ему можно верить.

«Конституция» была результатом перепуга самого Николая и таких близких к нему лиц, как Трепов или Николай Николаевич. Витте же был неизменным приверженцем неограниченного самодержавия и поклонником такого царя, как Александр III.

Витте, как умный человек, конечно, отлично знал и скудость образования Александра III, и ограниченность его ума, но очень высоко ценил его прямоту и волю.

У Николая II не было ни образования, ни ума, ни прямоты, ни воли, но и при нем Витте остается приверженцем самодержавия. И не потому, что это было у него в крови — Витте неоднократно подчеркивал свое дворянское происхождение — а потому, что самовластный и решительный характер Витте черпал в обессиленном по существу самодержавии возможности для проявления своей воли. Ist der König absolut, wenn er unsern Willen thut. Самодержавная царская воля

нравилась Витте постольку, поскольку она давала Витте возможность осуществлять свои волевые импульсы.

Ни Александр III, ни Николай II ни в вопросах государственного хозяйства, ни в железнодорожном деле, ни в финансах ничего не понимали. Они видели, что у /214/ Витте нет дефицитов и что всегда имеются деньги, и они не мешали ему вести свою политику.

Питейная государственная монополия нарушала очень много частных интересов, и только опираясь на неограниченное царское самодержавие, Витте мог провести эту монополию.

Золотое обращение, связанное с объявлением частичного государственного банкротства, нарушало интересы поместного дворянства, так как низкий курс нашего бумажного рубля облегчал экспорт сельскохозяйственных продуктов за границу. Кроме того, самые приемы и условия введения золотого обращения вызывали сомнения экономистов, более образованных, чем Витте, что и выразилось в горячих прениях Вольного экономического общества.

Но Витте имел за себя самодержавную власть царя, который в вопросах финансовых вполне доверял своему министру, и реформа огромного экономического значения была проведена, не считаясь не только с общественным мнением страны и с мнениями авторитетных русских и европейских экономистов, но даже помимо Государственного Совета, совершенно вне обычного законодательного порядка.

Конечно, такую политику Витте мог вести, только опираясь на самодержавную царскую власть.

Витте также отлично понимал, что мечты Николая и придворной камарильи о привлечении выборных и вообще о **совещательной** Думе являются воистину «бессмысленными мечтаниями» и, что все это должно кончиться конституцией, а затем парламентаризмом, что ему, по его темпераменту и характеру, ни мало не улыбалось.

А Николай, по присущему ему недомыслию, воображал, что ему удастся всех обмануть и сочетать конституцию с самодержавием.

На знаменитых петергофских совещаниях, в июле 1905 г., под личным председательством Николая, особо приглашенные лица, преимущественно из высших сановников империи, обсуждали проект булыгинской законосовещательной Думы.

Тогда они еще считали себя хозяевами положения, /215/ причем «либеральное» крыло совещания настойчиво убеждало Николая в том, что в проекте комитета министров об осуществлении «предначертаний» Николая, изложенных в рескрипте министру внутренних дел 18 февраля 1905 г., нет никаких изменений основных законов, утверждающих незыблемость самодержавия, а крыло откровенно реакционное настаивало на том, что ограничение самодержавия имеется, а если уж идти на это, то надо по крайней мере сделать Думу не только строго совещательной, но и сугубо дворянской, не допуская в нее по возможности городского населения, а из крестьян допустить преимущественно волостных старшин, избранных под опекой дворян.

О рабочих даже не упоминалось.

Как далеко шел «либерализм» левого крыла, можно судить по тому, что его поддерживали почти все министры, великие князья (особенно резко Владимир Александрович) и ген. Трепов.

Вообще здесь оказалось не мало монархистов, настроенных более монархически, чем сам монарх. И надо сказать правду, что председательствовавший на совещаниях Николай II здесь, в этой «избранной» среде, оказался даже умнее и толковее многих.

Такова была среда.

В самом конце Николай по обыкновению попробовал слухавить.

— Я останавливался на самом названии Думы, — сказал Николай. — Я думал, не лучше ли назвать

Думу «Государевою»?

Но Сольский возразил:

— Это название не вполне отвечало бы назначению и характеру Думы как государственного законосовещательного органа. Правильнее именовать ее Государственной, в соответствии другому подобному органу — Государственному Совету.

Николай не настаивал.

Когда шла речь о форме присяги членов Думы, отмечено было, что в присяге этой не упоминается о самодержавии.

«Либералы» доказывали, что в этом нет надобности, так как самодержавию присягают в общей присяге, /216/ поэтому в специальной присяге членов Государственного Совета тоже не упоминается о самодержавии.

Наконец, Герард сделал предложение:

— Если уж признается необходимость оговорить о сохранении незыблемым самодержавия, то удобнее сказать об этом в манифесте, а не в проекте. Для достижения преследуемой цели — это все равно.

Но Николай на это не поддался и тут же возразил:

— Нет, не все равно: манифест прочитается и забудется, а закон о Думе будет действовать постоянно.

Протоколы петергофских совещаний свидетельствуют, что, идя на уступки и, собираясь созвать Думу, Николай прежде всего стремился к сохранению незыблемости царского самодержавия, причем подчеркивал, что законосовещательная работа Думы, «сила мнения», решительно ни к чему его обязывать не может.

Когда, через несколько месяцев после петергофских совещаний, те рабочие, о которых даже не упоминалось и на которых так просчитались, остановили весь механизм государственной жизни и с перепугу пришлось вместо законосовещательной Думы обещать Думу законодательную, Николай все еще не терял надежды, что ему по существу удастся сохранить незыблемость своего самодержавия.

Николаю II едва ли было знакомо известное рассуждение Лассаля «О сущности конституции», но он и без того отлично понимал, что эта сущность определяется не провокационной бумагой, подписанной им 17 октября 1905 г., а тем военно-полицейским аппаратом, который по старому оставался в его руках. Бумажная же конституция нужна была прежде всего потому, что под нее только и можно было заключить за границей новый заем. Самодержавие уже там потеряло кредит.

В самой же России самодержавие потеряло последний кредит 9 января 1905 г. До того еще удавались эксперименты полицейского социализма, и зубатовщина могла привлекать значительные группы рабочих, которые готовы были верить, что царь может защищать рабочих от хищничества капитала.

Рабочие Петрограда, увлеченные Гапоном, еще верили, /217/ что если они прямо обратятся к царю с просьбой о защите, то они ее получают. Николаю здесь представлялся случай увенчать зубатовщину, привлечь к себе рабочих и оттянуть революцию на столько времени, на сколько удалось бы поддерживать обман. Но Николай и не посмел, и не сумел этого сделать. Он спрятался в Царском Селе, а рабочие, устроившие крестный ход с иконами и царскими портретами, были встречены залпами.

Таким образом сразу отрезвились и те отсталые рабочие, которые еще поддавались на

зубатовщину и ждали чего-то от царя.

9 января вследствие трусости и недомыслия Николая II ставка царизма была безнадежно проиграна. Кровь слишком доверчивых рабочих, стариков, женщин и детей захлестнула царскую легенду. /218/

6. Голый царь и Марк Твэн

День 9 января морально погубил царизм не только в России.

Марк Твэн напечатал после этого замечательно остроумный монолог, который он вложил в уста Николая II

В этой своей сатире Марк Твэн, который никогда не был революционером и был любимцем самой буржуазной публики, очень убедительно доказывает моральную допустимость цареубийства и, в художественной прозорливости своей, пророчески предрекает грядущую судьбу Николая и дома Романовых.

В основу своего очерка американский юморист положил идею знаменитой книги Карлейля Sartor resartus. В книге этой Карлейль, как известно, в чрезвычайно оригинальной юмористической форме излагает, устами профессора Тейфельсдрека, «философию одежды».

Из этой-то философии исходит Марк Твэн, воспользовавшись для эпиграфа заметкой из лондонского «Times'a»:

«После утренней ванны царь имеет обыкновение, прежде, чем приступить к одеванию, посвящать час размышлениям.

(Рассматривая себя в зеркало.)

— Голый, что представляю я из себя? Тощий, невзрачный, с длинными, паукообразными ногами, я — пасквиль на образ и подобие божие! Голова, точно слепленная из воска, желтое лицо, в котором столько же выразительности, сколько в любой дыне, — уши торчком, угловатые /219/ локти, плоская грудь, ребра наперечет... Во всем этом — надо сознаться — нет решительно ничего императорского, ничего величественного, ничего, внушающего страх и благоговение. И перед таким-то произведением природы склоняется в прах сто сорок миллионов русского народа?! Немыслимо!

Кто может преклоняться перед этой жалкой фигурой, которая и есть моя особа? Перед кем же или перед чем они преклоняются? Говоря по секрету, никто лучше меня не знает, в чем разгадка: они молятся на мое платье.

Без одежды я настолько же лишен авторитета, как и любой голый человек. Никто не отличил бы меня от какого-нибудь попа или цырульника. Но тогда кто же является фактическим императором всея Руси? Мой мундир с панталонами. Больше ничего.

Тейфельсдрек сказал: "Что было бы с человеком — с каким угодно человеком — не будь у него одежды"? Стоит мне только задуматься над этим вопросом — и мне делается ясно, что без платья человек был бы ничем. Костюм не только дополняет человека, костюм есть весь человек; лишенный костюма, он нуль.

Чины и титулы — другая фабрикация, и тоже составляют часть костюма. Титулы и мануфактурные товары скрывают ничтожество их обладателя; он кажется великим, непостижимым, тогда как в сущности в нем нет никакого содержания. Это они заставляют целую нацию склонить колена и искренне боготворить царя, который без своей царской мантии и титула, упал бы до уровня последнего из своих подданных и потерялся бы навсегда в массе заурядных людей, которым цена грош. Раздетый царь в мире неодетых людей, быть может, не привлек бы ничьего внимания и, получив свою долю толчков и побоев, подобно всякому иному непатентованному смертному, пожалуй, принялся бы служить человечеству, таская за гривенники чужие саквояжи. Но этот же самый человек, благодаря своей царской мантии и царскому титулу, и только благодаря им, боготворим своими подданными. Он может по прихоти и безнаказанно ссылать, преследовать и травить их, как он травил бы крыс, если бы случайность /220/ рождения определила ему

профессию, гораздо более подходящую к его врожденным способностям, чем ремесло императора.

Что за громадная, всепокоряющая сила заключается в том, что на человеке одето, и в его титуле! Они наполняют зрителя благоговением, повергают его в трепет, и все это вопреки тому, что узурпаторское происхождение нашей императорской власти ему отлично известно: ведь он прекрасно знает, что власть каждого царя есть власть, незаконно приобретенная и незаконно уступленная или возложенная людьми, которым она никогда не принадлежала. Ибо монархи, если и избирались когда-либо, то лишь аристократиями, народом же — никогда.

Нет власти без мундира или парадной формы. Они правят человечеством. Отнимите то и другое у властей предрешающих — и ни одной страной нельзя будет управлять: голые начальники были бы лишены всякого авторитета. Они казались бы (и были бы на самом деле) заурядными людьми, субъектами без всякого значения. Полицейский в штатском платье — не более, как одно человеческое существо; но то же существо в мундире — целых десять человек. Одежда и титул — вот самая солидная и влиятельная власть на земле; они внушают человечеству добровольное и искреннее уважение к судье, к генералу, адмиралу, к митрополиту, к посланнику, к глупому графчику, к идиоту герцогу, к султану, королю, императору. Никакой титул не действителен без соответственного костюма, созданного для его поддержки.

Даже среди голых дикарей голый король носит какую-нибудь тряпку или украшение, которое он объявляет священным и не позволяет носить никому другому.

(Помолчав.)

Странная, непостижимая выдумка — человечество!

Кишащие миллионы русских людей позволяли нашему семейству грабить их, топтать ногами, и жили, и умирали с единственной целью и обязанностью служить этому семейству и его удобствам. Этот народ — лошадиный народ. Да, конечно, это нация лошадей, /221/ носящих одежду и исповедующих православие. Лошадь, обладай она силой даже десяти человек, позволяет одному человеку бить ее, морить голодом, помыкать ею. Миллионы же русских людей позволяют горсти солдат держать их в рабстве — а солдаты-то их родные сыновья и братья!

Еще одна вещь — поистине смешная, если хорошенько подумать о ней: весь свет преспокойно применяет к царю и царизму те же ходячие правила нравственности, которые приняты в цивилизованных странах. На том только основании, что в свободном государстве нельзя устранять злодеев иначе, как по суду, на основании закона, считается, что это же правило применимо и к России, где нет покровительства законов, кроме как для нашего дома. Законы — это известные ограничения свободы действия; в цивилизованных странах они ограничивают свободу всех, и в одинаковой мере для всех, что совершенно правильно. Но в России и те законы, какие существуют, всегда допускают одно исключение: наш царский дом. Мы поступаем по своему усмотрению, мы поступали так в течение столетий. Нашим ремеслом было преступление, нашей обычной пищей — кровь, кровь народа. На наших головах тяготеют миллионы убийств. И все-таки благочестивый моралист говорит, что убивать нашего брата — преступление.

Не мне говорить это (по крайней мере вслух), но по секрету как не сказать, что это очень наивно и забавно. Даже нелогично: императорская фамилия стоит выше закона: нет закона, который настиг бы ее, удержал ее и защитил от нее народ. Следовательно, мы **вне закона**. А людей, стоящих вне закона, может безнаказанно убить всякий.

Ах, что бы мы делали без моралистов?! Моралист всегда был нашей опорой, нашим защитником и другом; в настоящее время он наш единственный друг. Каждый раз, как начинался или начинается разговор о нашей казни — моралист уж тут со своими глубокомысленными изречениями: «Стой! не было еще примера, чтоб насилием было достигнуто что-либо, имеющее политическую ценность». Надо думать, что моралист /222/ искренно верит в истинность этого изречения. Понятно: у него нет под рукой учебника истории, откуда он увидел бы, что его излюбленное изречение не поддерживается статистическими данными.

Все троны были воздвигнуты с помощью насилия, с другой стороны только насилием удавалось сбросить тиранию. Насилием мои предки утвердили наш престол, убийствами, изменой, пытками, ссылкой и тюрьмами они удержали его четыре столетия в своих руках {Марк Твен здесь и дальше ошибочно говорит «четыре столетия» вместо «три»}, и теми же средствами удерживаю его я. Ни один опытный «Романов» не откажется перевернуть изречение и сказать: «Только насилием можно чего-либо достигнуть». Моралист понимает, что с начала нашей истории наш трон в первый раз теперь в серьезной опасности; но он не понимает, что причиной такого положения вещей —

четыре насильственных поступка: убийство финляндской конституции моей рукой, убийство революционерами Бобрикова и Плеве и моя бойня безобидных рабочих в **тот** день. За то кровь, текущая в моих жилах, воспитанная наследственно, по традиции чуткая к убийствам, прошедшая многовековую школу в жилах профессиональных палачей, моих предков, — **эта кровь** понимает и чувствует то, что от моралиста закрыто. Эти четыре убийства пробудили жизнь в неподвижной и темной глубине народного сердца, больше, чем то могли сделать какие угодно моральные доводы; эти четыре дела разбудили ненависть и надежды в давно застывшем народном сердце; и тихо, тихо, но неотвратимо эти чувства заползут в каждую грудь и завладеют ею. Со временем даже в душу солдата... страшный день... роковой день!.. Да, что-то будет! Как мало знает моралист-резонер о нравственной силе убийств!.. Да, последствия будут! Россия напряжена, и скоро родится нечто могучее — патриотизм! Говоря простым, грубым и грозным языком — **настоящий патриотизм**; любовь не к царскому дому, не к народному вымыслу, а **любовь к самому народу** и верность ему. /223/

В России двадцать пять миллионов семей, у каждой матери растет ребенок, и если эти двадцать пять миллионов матерей любят свою родину, то они будут каждый раз повторять своим сыновьям: «Помни одно, прими это к сердцу, живи и умри за это, если нужно: наш патриотизм **прошлых** времен изношен и гнил; есть другой патриотизм, есть настоящая любовь к родине: **этот патриотизм** означает **верность родине** всегда, через все испытания, и **верность правительству** лишь до тех пор, пока он того заслуживает». Когда вырастут эти двадцать пять миллионов истых патриотов — патриотов так взрощенных и воспитанных — то мой наследник не посмеет стрелять в толпу беззащитных просителей, униженно молящих его о справедливости... как я сделал в тот день. (Пауза.)

...Да, это картина! Это существо в зеркале — это жалкое существо — является признанным божеством великой нации, людей без счета — и никто не смеется! И никто не удивляется, не находит в этом ничего бессмысленного! Не глупая ли шутка вообще все человечество? Не было ли оно выдуманно как попало, в тоскливый час, от нечего делать? Есть ли в нем хоть капля уважения к себе? Не уважаю и я его — да и себя заодно. Есть только одно спасение — мои царские одежды; мундир и мантия, воскрешающие уважение к самому себе, поднимающие дух! Лучший дар неба человеку и единственная защита против познания самого себя. Обманывая человека, платье возвращает ему сознание собственного достоинства. Боже мой, как сострадательно платье, как оно благотельно, как могущественно, как неоцененно! Что до моего собственного, то оно превращает человеческий нуль в величину, бросающую свою тень на половину земного шара. Оно возвращает мне уважение всего мира — и мое собственное, — увы, поколебавшееся...

Надеть его поскорее!..»

В этом монологе, написанном в 1905 г. до провокаторской конституции, до столыпинщины и военно-полевой юстиции, до Распутина и министерской чехарды, суть, конечно, не в том, что голый Николай видит /224/ свою физическую плюгавость, которая наводит его на слишком умные для него размышления.

Дело в общей плюгавости этого «голового царя», плюгавости умственной, моральной, волевой, соответствовавшей плюгавости всего изжившего себя царизма...

Николай мог быть сложен, как Аполлон, царизм мог поражать своим блеском и великолепием, но культурно и социально он был обречен. /225/

7. «Конституция»

Вначале Николай II, по-видимому, искренне думал, что можно и при Думе править так, как будто бы ничего не случилось и никакой конституции нет.

И не было около него никого, кто мог бы разубедить его в этом.

Витте должен был уйти и был в опале. Притом Витте и сам ведь был врагом конституции. Впрочем Витте был жертвой того самого царизма, которому он так ревностно служил и перед идеей которого преклонялся. Не потому, конечно, был он жертвой, что Николай ненавидел его, при первой возможности прогнал его и откровенно обрадовался, когда Витте умер.

Бывший французский посол Палеолог в своих мемуарах изображает настроение Николая.

В ставке в царском вагоне за завтраком Николай был очень весел:

«Затем внезапно, — рассказывает Палеолог, — с блеском иронической радости в глазах:

— А этот бедный граф Витте, о котором мы не говорили. Надеюсь, мой дорогой посол, что вы не были слишком опечалены его исчезновением?

— Конечно, нет, государь!.. И когда я сообщал об его смерти моему правительству, я заключил краткое надгробное слово в следующей простой фразе: **большой очаг интриг погас вместе с ним.**

— Но это как раз моя мысль, которую вы тут передали... Слушайте, господа...

Он повторяет два раза мою формулу. Наконец, /226/ серьезнейшим тоном, с авторитетнейшим видом, он произносит:

— Смерть графа Витте была для меня глубоким облегчением. Я увидел в ней также знак Божий».

Так благочестиво отнесся Николай к смерти своего единственного делового министра и самого честного своего слуги, который во всю первую половину его царствования посильно исправлял грехи его собственной глупой и бездарной политики.

Но не в этом, конечно, не в царской опале была трагедия Витте.

Витте, хотя и подчеркивает в своих воспоминаниях свое дворянское происхождение и наследственный монархизм, не имел ничего общего с типичными дворянами, с знатью, «толпою жадною стоящею у трона».

Витте был типичным разночинцем, умным, даровитым, на редкость энергичным и трудоспособным и... достаточно беспринципным.

В нем решительно ничего не было от маркиза Позы, но было нечто от Годунова и от Бисмарка.

Но с Витте произошло некое скверное чудо. Он был, конечно, несравненно умнее, образованнее и даровитее Александра III, а с Николаем II его и сравнивать нельзя ни по уму, ни по смелости и решительности характера, ни по силе незаурядной воли.

Однако, вышло как-то так, что Витте не только не оказал заметного влияния на политику Александра III, тупость и нелепость которой он отлично видел, но даже на невзрачного во всех смыслах, на недалекого, безвольного и трусливого Николая II он не мог повлиять настолько, чтобы подчинить его своей воле.

Не Николай II поумнел от многолетнего общения с Витте, а Витте как будто поглупел и обмяк в долгом общении с Николаем II.

Витте, естественно, импонировал Николаю своею смелостью, решительностью, огромной самоуверенностью, но такие решительные, однако тупые и ограниченные люди, как Трепов или Столыпин, легче подчиняли себе Николая, чем несравненно более умный, даровитый и самостоятельный Витте. /227/

Витте был яркая, крупная личность, Николай был сереньким, заурядным ничтожеством, и все же это ничтожество свело Витте на нет, превратив и его в лукавого царедворца, который вынужден был плясать по дудке Трепова и Дурново. Воистину, тощая корова проглотила сильную и упитанную, пустой тощий колос поглотил полный.

Или, как говорит Гамлет: «Красота скорее превратит добродетель в распутство, чем добродетель сделает красоту себе подобною».

Витте хитрил и лукавил, с одной стороны, с царем, с другой — с общественностью, и добился

только того, что ему никто не верил ни с какой стороны.

Казалось бы, что в конце концов он достаточно снизился до уровня Николая II, до Трепова и Дурново, но Николаю и этого было мало — и он отделался от Витте.

С конституцией, даже с самой куцей, Николай никогда не мог примириться, самодержавно править он совершенно не умел, не сумел бы и тогда, если б время и обстоятельства позволяли.

Русские цари не имели привычки уходить своевременно и добровольно. Только смерть, насильственная или естественная, избавляла от них страну. Уход Александра I — легенда, самоубийство Николая I — не установлено. И после преступной личной политики и позора Японской войны Николай II все еще не понимал, что он стал невозможен. Самодержавие уже не имело никакой опоры.

Бюрократия давно уже выросла в такую силу, с которой не могли совладать ни Николай I, ни Александр III. Царское самодержавие давно расплылось на десятки тысяч маленьких чиновничьих самодержавий. Ничего творческого, полезного царизм, ограниченный механизмом бюрократии, совершить не мог, даже при самых лучших желаниях.

Как ни плоха была бюрократия, подвергавшаяся многолетнему отрицательному отбору, она все же вносила в управление хоть какой-то формальный порядок, хоть какую-нибудь систему. Личная политика царя нарушала и этот порядок. За монархом осталась /228/ единственная прерогатива — вносить путаницу в дело управления, нарушать ими же установленные законы и втравливать страну в опасные авантюры, на которые обыкновенно толкала царя жадная и глупая дворцовая камарилья.

«Высота трона» превратилась в низину, в которую стекались самые грязные вождения, самые бесстыдные домогательства, все, что было самого бессовестного, гнусного и подлого в стране.

Это особенно ярко сказалось при «конституции».

Если цари не отрекались от престола и не уходили, как бы им ни случилось срамиться, то этим заражались и министры, и все сановники. Не было исключением даже такой выдающийся министр, как Витте. И он дождался того, что его «ушли», а о других и говорить нечего.

Некоторые досиживались до того, что разваливались на своих постах, но все же досиживали либо до смерти естественной или насильственной, либо до тех пор, пока их выгоняли.

Цеплялись за власть до последней возможности и даже до невозможности.

Цари более яркой индивидуальности: все три Александра, и Николай I, более или менее щадили человеческое достоинство своих сановников, и даже тогда, когда они их мало уважали и не любили — терпели их.

Николай II не уважал ни себя, ни своих сановников. При нем ни один министр не был уверен после самого милостивого приема царя, что его отставка уже не подписана, или что он не прочтет о ней завтра утром в газете.

К народному представительству Николай относился, как к лишней и неудобной новой казенной канцелярии. Притом он никогда не мог забыть, что Дума была у него «вырвана». Он с трудом мирился с Думой даже тогда, когда она ничем не посягала на его самодержавие. Но если б и при Думе все шло так, как будто ничего не случилось и ничего не изменилось, а Дума являлась бы только новым учреждением, которое время от времени устраивает патриотические или монархические демонстрации, тогда еще куда ни шло. При таких /229/ условиях он ничего не имел бы и против того, чтобы в Думе порою поругивали его министров.

Он сам любил ставить своих министров в затруднительные и нелепые положения, и, как бы они перед ним ни усердствовали, Николай радовался, когда их постигали неприятности, радовался даже, когда они умирали или когда их убивали. Так обрадовался он смерти Витте, был доволен,

когда убили Плеве, еще более радовался, когда убили Столыпина. Даже к Трепову Николай стал в конце так относиться, что только неожиданная смерть избавила Трепова от опалы и неприятностей. Лживости и коварства Николая не выдержало даже сердце «вахмистра по воспитанию и погромщика по убеждениям».

— Я его не предаю, он меня — наверно, — в этой формуле выражалось мнение самых преданных министров о Николае II.

Чего же могло ждать от царя народное представительство?

Первую Думу он распустил, «как тать в ночи». Для разгона второй Думы была пущена в ход самая беззастенчивая провокация.

Нарушив недавно возведенную «непреклонную царскую волю» и совершив выборное шулерство после того, как ставка на «консервативного мужичка» была бита, Николай вступил в новую полосу своей политики, в полосу столыпинщины.

Типичный провинциальный губернатор, очень плохо справлявшийся с «вверенной ему губернией», оказался ярким светилем в том болоте бездарностей, нечистоплотности и бесчестности, в котором копошился Николай.

Столыпин сейчас же нашел в 3-й Думе целую партию лакеев-октябристов. Но так как эта партия «пропавшей грамоты» носила одиозное название партии 17 октября, то ее Столыпин отдал в услужение партии еще более лакейской — партии националистов.

Неудачный саратовский губернатор, став губернатором всероссийским, оказался смелым и находчивым оратором, чем он импонировал Думе, а на царя, невзрачного и робкого по натуре, Столыпин действовал /230/ своим большим ростом, громким голосом и самоуверенностью.

Таковыми же внешними данными действовали на Николая и огромный, резкий и самоуверенный Витте, и бравый генерал Трепов и, тоже огромный, тупой, дядя царский, Сергей Александрович.

К ставке на хозяйственного мужика, которая так позорно была бита при выборах в первые две Думы, Столыпин подошел с другой стороны. «Смычку с крестьянством» он надеялся устроить, освободив сильных крестьян, т.е. главным образом деревенских кулаков, от общины, от власти крестьянского мира, и соблазнив их хуторским хозяйством.

Николай, по-видимому, тоже увлекся мечтой о создании сельской буржуазии как новой опоры трона. Конечно, все это было не ново, и задолго до Николая II и до Столыпина Щедрин уже характеризовал Дерунова, Колупаева и Разуваева как столпов отечества и опору трона.

— Чумазый идет! — возвещал Щедрин, и этого чумазого пытались сделать опорой новой государственности, сумбурно оставаясь в то же время на почве дворянского феодализма.

Но ни у Николая, ни у Столыпина литературных воспоминаний, конечно, не было, и сатиру Щедрина они готовы были совершенно серьезно воплощать, как новую государственную программу «ставки на сильных».

Увлекался вначале Николай и тем, что Столыпин говорил о «великой России» и выдвигал на первое место русский, т.е. собственно велико-русский национализм.

Идеологически обосновать этот национализм Столыпин, конечно, самостоятельно не мог, но свою образованность в этом направлении он черпал из сокровищницы знаний Ильи Яковлевича Гурлянда.

Гурлянд — тоже одна из характерных фигур царствования Николая II.

Еврей по происхождению, юрист по образованию, он стал приват-доцентом Ярославского юридического лицея и там сумел снискать доверие бывшего в Ярославле губернатором Штюмерера.

Человек неглупый и небездарный, Гурлянд, сын какого-то южного раввина, вздумал стать русским Фридрихом Шталем.

Но в то время, как знаменитый теоретик прусской реакции, будучи, как и Гурлянд, евреем по происхождению, стал членом аристократической прусской палаты господ и до самой смерти (1861 г.) оставался признанным главой юнкерской феодально-аристократической партии, Гурлянд, в условиях русской жизни и через полвека после Шталя, вынужден был ютиться за кулисами большой политики и оттуда, из каких-то темных задворков нашей государственности, из редакции казенной и рептильной печати, из министерской канцелярии, тайком, из-под полы, снабжать министров идеологией истинно-русского национализма.

В противоположность Шталю, Гурлянд, проведя многие годы своей своеобразной государственной деятельности в темной и пыльной суфлерской будке и подавая оттуда шепотом истинно русские националистические реплики министрам, громко выкрикивавшим их, как Столыпин, с подмостков Государственной Думы, не оставил никаких известных литературных памятников этой своей деятельности.

Столыпин умер от руки одного из тех охранников, которые перед охранкой выслуживались выдачей революционеров, а перед революционерами — организацией убийств сановников.

Впрочем, накануне своей физической смерти Столыпин, убитый на глазах Николая, был уже политическим мертвецом, так как для Николая и он был личностью слишком яркой, и тот уже решил отделаться от него. /232/

8. Витте, Трепов, Столыпин

Витте был уволен за несколько дней до открытия заседания первой Государственной Думы, и народным представителям, впервые собравшимся на Руси, пришлось встретиться с правительством, которое возглавлял старый и неисправимый бюрократ Горемыкин и украшали такие фигуры, как Щегловитов, Стишинский, Шванебах.

Это, по крайней мере, было откровенно. Витте еще мечтал о коалиционном министерстве, в котором общественные деятели сидели бы рядом с бюрократами и даже с таким субъектом, как Петр Дурново. Но никакие общественные деятели, даже из самых умеренных, не согласились «сесть за стол нечестивых», и Николай бесцеремонно прогнал председателя совета министров, не сумевшего обмануть общественное мнение.

В новом и первом «конституционном» кабинете воссияла звезда Столыпина, в качестве министра внутренних дел.

Николай очень скоро, чуть ли не с первого заседания, разочаровался в первой Думе. Она совершенно не оправдала его ожиданий, так как готова была принимать всерьез свою роль народного представительства, а не служить только новым украшением самодержавия в либеральном стиле.

Дума не признавала Горемыкина, а Горемыкин не признавал Думы. Через три месяца с небольшим Горемыкин добился у царя указа о роспуске Думы, но при этом Николай устроил главе своего правительства один /233/ из своих обычных сюрпризов. Удовлетворив домогательства Горемыкина о роспуске ненавистой Думы, Николай тут же преподнес ему отставку.

«Мавр сделал свое дело, мавр может уйти».

Место Горемыкина занял Столыпин, человек, во всяком случае, гораздо более яркий и даровитый.

Столыпин тоже стал мечтать о коалиционном министерстве. Но то, что не удалось Витте, не удалось и Столыпину, и все окончилось безрезультатными переговорами.

К этому времени относится чрезвычайно характерный для политики Николая эпизод.

В то время, когда Столыпин с большой опаской и оглядкой вел переговоры с самыми умеренными из общественных деятелей о том, чтобы те согласились хоть частично скрасить своим участием бюрократический кабинет министров, дворцовый комендант Трепов, самое в то время доверенное лицо Николая, повел тайные переговоры с крамольными кадетами (после Выборгского воззвания) и предлагал им ни более, ни менее, как образование чисто кадетского министерства.

Эта темная и загадочная комбинация долго оставалась тайной для всех, кроме ее участников, а когда Столыпин узнал о ней, то, естественно, пришел в ужас.

Трепов, конечно, действовал в полном согласии с царем, да и не посмел бы иначе пускаться в такие рискованные эксперименты. Между тем, было слишком известно, что Трепов, как и Николай, органически никакой конституции и ничего конституционного не приемлют, ставя принцип неограниченного самодержавия превыше всего.

В чем же была тайна этих неожиданных заигрываний с кадетами после разгона Думы и после Выборгского воззвания?

Тайна оказалась весьма простой, и для Трепова даже слишком остроумной.

Николай и Трепов, не зная, как отделаться от неприятных последствий перепуга 17 октября, задумали грандиозную провокацию.

Образовать кадетский кабинет. Он, конечно, поведет /234/ политику в стиле требований первой Думы. Царь и Государственный Совет, конечно, на это не пойдут, левые, со своей стороны, потребуют большего, возникнет острый конфликт, и с помощью треповской формулы: «патронов не жалеть», можно будет сразу покончить с кадетами и с конституцией.

Так толкует эту затею очевидец и участник событий б. министр Извольский, в общем дипломатически мягкий и благосклонный к Николаю в своих мемуарах, изданных в Париже.

Затея вполне в стиле политики Николая II.

Авантюра, конечно, опасная, но Трепов опасности не боялся, ибо был человек бесстрашный и решительный, а Николай таким легко поддавался.

Содержало же правительство на казенный счет Азефа, который, для «пользы службы», организовал убийство Плеве, убийство Сергея Александровича и не прочь был от организации покушений на Николая.

Такое уж это дело — провокация, — что приходится рисковать и идти на опасности.

Когда о тайных махинациях внезапного треповского конституционализма узнал Столыпин, он вступил в отчаянную борьбу с Треповым.

Столыпин был ярче, умнее и даровитее Трепова, и решительности было у него достаточно. Николай уступил. Трепов попал в опалу и впал в мрачную меланхолию.

Николай не простил Трепову этого поражения, так как у Трепова, конечно, своей собственной политики, как и своих собственных мнений, не могло быть, и поражение его было собственно поражением личной политики Николая. Николай, несмотря на всю безоглядную преданность ему Трепова и на все его заслуги перед ним, сразу повернулся к нему спиной. Ни этой неблагодарности, ни этой немилости Трепов перенести не мог и он скончался после этого так скоро и так неожиданно, что его смерть даже сочли неестественной; но по-видимому Трепов умер от разрыва сердца.

Не простил Николай и Столыпину его победы, но, пока что, затаил враждебное к нему чувство,

проявив его впоследствии. /235/

После опалы и смерти Трепова у Столыпина остался только один сильный противник — Витте, но Витте был в опале и пока был не опасен, хотя никто не хотел верить, что песня Витте спета и что он больше к власти не вернется.

Антагонизм между Витте и Треповым был не только антагонизмом личного и карьерного характера. Он исходил из истоков более глубоких и несколько напоминает тот антагонизм, который существовал между Стиннесом и Штреземаном в Германии.

Витте был представителем интересов крупной буржуазии. Правда, он интересовался и положением крестьянства, и его комиссия по крестьянскому вопросу очень серьезно думала над вопросом о поднятии крестьянского благосостояния.

Но крестьянин интересовал Витте, прежде всего, как покупатель, и его благосостояние — как увеличение покупательной способности, на которой могла бы базироваться крупная промышленность.

Комиссия эта, как известно, была внезапно упразднена Николаем и все дело передано в мертвые руки похоронных дел мастера Горемыкина.

Эта политика Витте таила в себе, правда, большую опасность, впрочем, производного характера.

Усиленная индустриализация России неизбежно вела к умножению и усилению пролетариата.

Николай, может быть, плохо это понимал, но инстинкт самосохранения подсознательно подсказывал и ему, и дворянской камарилье ощущение грядущей опасности. И инстинкт этот не обманывал.

«Так вот где таилась погибель моя», могли они все сказать, когда оправдалось предсказание Плеханова, что революция в России может быть только рабочей революцией, или ее совсем не будет.

Столыпин думал спасти Россию другим путем.

Он возмечтал о создании сильных мелкобуржуазных кадров из крестьян-собственников.

Эта мечта была соблазнительна тем, что она не затрагивала интересов дворянско-помещичьих, так как при «ставке на сильных» вся деревенская беднота отдавалась в кабалу помещикам, обеспечивая им дешевые «руки», /236/ и не множила столь опасного фабрично-заводского пролетариата.

Николай плохо разбирался и в политике Витте, и в политике Столыпина, но он не доверял и ненавидел Витте, а затем возненавидел и Столыпина. Эти люди ярких индивидуальностей, сильной воли, были, хотя в разной степени, и даровитее, и умнее, и сильнее Николая, они импонировали ему, но он им не прощал их превосходства над ним.

Между тем, у него не было более сильных, более энергичных, более преданных и даровитых защитников монархического начала.

Они одни вливали какое-то подобие жизни в обреченный, умирающий царизм.

Но Николай фатально и трагически мирился только с ничтожествами, которые ублажали его самой грубой лестью, показывая вид, что преклоняются перед его умом, перед глубиной его понимания, перед его проницательностью и даже перед силой его самодержавной воли...

Таковы были остальные — от Сипягина до Протопопова...

Сипягин, например, зная о пристрастии Николая к «тишайшему царю», к Алексею Михайловичу,

которого Николай облыжно считал своим предком, устроил у себя комнату в стиле того времени, где и принимал царя.

Как мог Николай серьезно вникать в попытки Витте и Столыпина приспособить как-нибудь конституцию к самодержавию, когда он жил всегда в мире призраков, иллюзий и фикций? В двадцатом веке он жил мечтой о семнадцатом. Устраивались грандиозные придворные балы, на которых Николай щеголял в наряде царя Алексея Михайловича, Александра Федоровна в костюме царицы XVII века, сановники в костюмах бояр. Этот исторический маскарад тешил Николая своей дорогой бутафорией в самые тяжелые дни русской истории. Когда грядущее было так грозно и таило в себе столько бед, Николай тешил себя призрачной мечтой /237/ о реставрации столь далекого и столь невозвратного прошлого.

Он даже единственному сыну своему, столь долго и тревожножданному наследнику, дал имя Алексей, не смущаясь тем, что в течение двух столетий после несчастного и жалкого сына Петра I это имя более не давалось наследникам русского престола. /238/

9. Русский фашизм

Все, что было в русской жизни темного, некультурного, вся накипь тяжелой и мучительной русской истории, все это цепко держалось за царизм.

Звериный национализм, изуверская церковность, кулаческие и сословные вождедения, все это тянулось к «подножию трона» и там искало опоры и защиты от неотвратимого хода истории, от непобедимых веяний времени, от развала изжившего себя социально-политического строя. Все это создало русский фашизм, или черносотенство.

Европейский фашизм — это судороги европейской буржуазии, попытка как-нибудь отсрочить, задержать надвигающуюся катастрофу.

Там буржуазия имеет еще за собою огромную культурную силу, вековую власть внешне упорядоченной жизни, давно и крепко организованного порядка, блестящие традиции. Там «гробы повапленные» сверкают еще блестящей мишурой, недавним — до войны — великолепием исторических переживаний, преданиями героической борьбы той же буржуазии с феодализмом, с церковью, с подавлением личности.

Русское черносотенство боролось за изжившее себя самодержавие, за идеалы крепостничества, за улады холопства, за аппетиты отсталого, разорившегося и духовно, и материально, дворянства, за бесправие; за полицейско-синодальную церковность.

Царь Николай II был одним из самых некультурных русских людей. Только в самых заброшенных углах /239/ России, там, где еще не вымерли герои «темного царства», можно было встретить такую жалкую отсталость. Вместо веры и религии — грубое суеверие и церковная обрядность, полное отсутствие или поразительная скудость умственных интересов, совершенное непонимание творимой истории, какая-то безотрадная душевная плоскость, мелкие движения мелкой души, лживость и лукавство трусливого характера, безысходная пошлость.

Воистину, царь чеховского безвременья, хмурый, унылый, скучный обыватель.

Все, что было на Руси отжившего, все обреченное, разлагавшееся, отсталое и бессильно злобное в чувстве своей обреченности — все это чувствовало в последнем обреченном царе свое близкое, родное. Не было такого отпетого прощелыги из союзной чайной, не было такого убожества, обозленного за свою никчемность, который не чувствовал бы в последнем царе родственную душу.

И когда из отбросов жестокой городской жизни, из профессиональных воров и наемных убийц правительство царя формировало банды своих защитников, Николай, по органическому недомыслию своему, готов был верить, что эта гниль и есть подлинный русский народ.

Когда устраивались погромы интеллигенции и погромы евреев, когда наемные убийцы убили Герценштейна, Иоллоса, Караваева, когда самый подлый из русских министров Иван Щегловитов, которого даже некоторые великие князья называли Ванькой-Каином, инсценировал процесс

Бейлиса и казенный апофеоз Веры Чеберяк, Николай верил, что он ведет народную и национальную истинно-русскую политику. И царь открыто носил на своем мундире почетный знак союза русского народа, отличие погромщиков и наемных убийц. И даже несчастного мальчика своего, наследника, которого он любил со всей исключительной силой эгоистической любви, он не задумался осквернить этим позорящим знаком.

Банды союзников, «академические союзы» учащейся молодежи, закупленные все для той же «патриотической» политики, пользовались, благодаря покровительству /240/ царя, такой силой и такой безнаказанностью, что они могли бы принести стране еще больше вреда, если бы все эти патриоты не были так неудержимо вороваты. Союзные кассы постоянно и неукоснительно разворовывались, «академическая» молодежь — это детище Пуришкевича — прокучивала и пропивала суммы, отпущенные на пропаганду, а наемные убийцы из союзных чайных пропивали и продавали отпущенные им казенные револьверы, редакторы погромных газет постоянно проворовывались и вечно грызлись между собою из-за «темных» денег.

Николай искренне был готов делить с этими защитниками самодержавия свою царскую власть, но и тут, как и во всем, он был бессилён. «Истинно-русские» люди очень уж напоминали анекдотического цыгана:

— Что бы ты сделал, если б тебя выбрали царем?

— Украл бы сто рублей и убежал...

Николай не гнушался ни общением, ни личной перепиской с таким субъектом, как издатель «Гражданина», князь Мещерский, ни личными сношениями с таким заведомым негодяем, как Дубровин.

Французский шарлатан Филипп, т.е. бывший лионский мясник Нозьер Вашоль, при нем получил звание русского доктора и облачился, с высочайшего соизволения, в мундир военно-медицинской академии. При нем профессора должны были склониться перед невежественным дегенератом, каким-то Сопочко, который, без помощи свыше, никак не мог одолеть экзаменов.

Естественно, что Николая лечил тибетский шарлатан и аферист Бадмаев.

При Николае творили административные анекдоты ялтинский генерал Думбадзе, одесский градоправитель Толмачев, нижегородский Хвостов и многие им подобные.

При Николае патриотические аферисты придумали организацию потешных, представлявшую карикатуру на английских бой-скаутов, при Николае же процвела азефовщина, зубатовщина, разыгралась гапониада.

Щедрин, изобразивший русскую историю, возглавляемую царями, в своей «Истории одного города», конечно, не мог в своей сатире даже приблизиться к тому /241/ кровавому фарсу, каким явилось не в литературном вымысле, а в подлинной истории царствование Николая II.

Но вся эта внутренняя политика, которая стоила внешней, и внешняя, которая соответствовала внутренней, не была еще последней ступенью, до которой опустился царизм.

Впереди еще предстояли Распутин, «министерская чехарда» и последняя война.

В третьей и четвертой Государственных Думах Николай имел свою партию, лидерами которой были Марков 2-й и Пуришкевич, а еще раньше там красовались такие монархисты, как Паволакый Крушеван, известный кишиневский погромщик, и минский депутат Шмит, человек, некогда судившийся за шпионство, изобличенный в государственной измене путем продажи немцам каких-то секретных военных чертежей и после этого реабилитированный царем, как специалист по русскому патриотизму.

Русский фашизм, представленный в Думе крайними правыми и националистами, представлял

удивительную смесь.

С одной стороны, оплотом этого фашизма было «объединенное дворянство», главные представители которого, впрочем, заседали не здесь, а в Государственном Совете, составляя там правое крыло. Сюда значительной частью входили и назначенные члены Государственного Совета, вербовавшиеся из отставных или уволенных за негодностью бюрократов, оказавшихся неудобными даже в пределах почти безграничной терпимости царизма.

Эти члены высокого учреждения находились в полной холопской зависимости от царя, так как списки их составлялись ежегодно, и при малейшем проявлении независимости им грозило в ближайшее 1-е января не оказаться включенными в список и лишиться присвоенного содержания.

С другой стороны, «союз русского народа» проявлял демагогические наклонности, стараясь привлечь к себе темные народные массы, рабочих, железнодорожных служащих и городскую гольтьбу. Большую роль в этих /242/ фашистских организациях играло православное духовенство, высшее — движимое большей частью сознательным и выгодным при Победоносцеве и Саблере черносотенством, низшее — чаще под давлением высшего.

Русская жизнь и русское управление никогда не отличались организованностью, выдержкой, систематичностью. Все обычно шло «через пень-колоду». А тут появился новый элемент сумбура.

Шли погромы, преимущественно еврейские. Тут, по крайней мере, русские фашисты делали свое дело и доказывали, что не даром деньги получают. Не могли же полиция и солдаты в мундирах сами громить население, открыто грабить и разорять. Гораздо удобнее было, когда под рукой были «патриоты», которые и проделывали все, а полиция и войсковые части только охраняли погромщиков и поддерживали их.

Мчится по улицам какого-нибудь города — Одессы, Кишинева, Белостока и т. п. — банда налетчиков, громит магазины, квартиры, выпускает пух, ломает тяжелые предметы, ворует легкие, избивает, убивает, насилует... Полиция наблюдает и следит, нет ли где крамольной самообороны, которая могла бы напугать лихую банду, а войска... «пехота движется за нею и тяжелой твердостью своей ее стремления крепит»...

Это еще было дело.

Но «союзники», пьяные, наглые, уверенные в своей безнаказанности, вмешивались в дела управления, грубо кричали даже на губернаторов, терроризировали местные власти. Забирались союзники, например, на железнодорожную службу — и начинались сыск, пьянство, угрозы, нарушение служебной дисциплины, а начальство железнодорожное должно было все терпеть, потому что всякое противление погромщику рассматривалось, как проявление неблагонамеренности. Ведь сам царь носил союзный значок и посылал союзникам поощрительные телеграммы.

Железнодорожный фашизм особенно процвел, когда министром путей сообщения стал союзник Рухлов, когда управляющими железными дорогами стали такие субъекты, как юго-западный Ивановский. А в Думе погромщиков защищали и поддерживали Замысловский, Марков 2-й, /243/ Пуришкевич, свящ. Вераксин или епископ Евлогий.

Поддерживали и ограждали их безнаказанность министры.

Считали сами себя союзники не иначе, как в миллионах, отделы числились сотнями, телеграммы фабриковались тысячами, субсидии и подачки сыпались миллионами, а когда стряслась революция, все эти призрачные миллионы куда-то бесследно исчезли и, казалось, даже след их простыл. Точно и не было никогда этого наводнения на Руси.

И сколько ни толковали о том, что все это скверный мираж, что погромных газет никто не читает, что никаких отделов в провинции нет, а есть только кучки пропойц и воров, Николай верил, что эти погромщики действительно составляют какой-то «союз русского народа», что этот «союз» — самая надежная опора трона, а не одна преступная непристойность уголовного характера, созданная его же холопами на казенные деньги и на предмет воровства этих самых казенных

денег.

И Александра Федоровна получала от этих союзников верноподданные телеграммы — их особенно много фабриковал Штюрмер — и верила, что это рвется к ней глас обожающего ее народа...

10. Ритм

Последний Романов, Николай II — нарушил некий исторический ритм. Этим ритмом русский царизм, давно изживший себя исторически, тесно связавший свои судьбы с трупом исторически мертвого класса, несколько замедлял свое неизбежное падение.

После подъема при Петре I наступила полувековая бестолочь, завершившаяся его гольштинским величеством Петром III Федоровичем.

Умная и ловкая немка Екатерина II спасла царизм.

Павел опять подвел его к пропасти.

«Благословенный» сын его, допустив убийство отца, отдалил катастрофу, но его преемник вновь довел царизм до севастопольского разгрома и краха.

Александр II либерализмом первых лет опять поправил дело, которое — тоже по романовской традиции — сам же испортил.

Александр III продолжал эту порчу, и после него, по традиционному ритму, следовало ожидать либерализма, новых веяний и хоть какого-нибудь приспособления к духу времени.

Но бесцветный Николай II упорно желал идти «по стопам папеньки». Не было дано никакой передышки сверху, и она явилась снизу после японской войны. Настал 1905 г. Николай ничего не понял и думал всех обмануть, а обманул только себя. Ритм реакции и передышек был нарушен, и весь механизм царизма развалился.

Царизм изжил себя давно, исторически много раньше своего бесславного конца. Но форма, оболочка, еще держалась по традиции, по исторической инерции. /245/

Даже Иван Грозный был одним из образованнейших людей своего времени, и в его политике, даже в его опричнине, в его кровавой и жестокой борьбе с боярством, было много исторического смысла.

Петр I, Екатерина II были выдающимися людьми своего времени, Александр I был тоже человеком незаурядным, но при нем Россия уже стала перерастать своих царей. При нем уже был Пушкин, были декабристы.

Николай I уже сильно отстал от России, от ее более культурного слоя. Наряду с людьми сороковых годов, среди которых были Герцен, Бакунин, Огарев, Белинский, Грановский, Ив. Тургенев, Достоевский, — Николай I, этот казарменный, жандармский царь, уже был анахронизмом.

Александр II сильно отстал от общего уровня шестидесятников еще в лучшие свои годы, а потом он даже не мог плестись в хвосте исторического движения.

Александр III опять был живым анахронизмом. Он и по уму, и по образованию, и по всей своей психике стоял ниже средне-образованного и средне-культурного русского человека.

Николай II, с его скудным образованием, грубым и темным суеверием, стоял в умственном и культурном отношении ниже среднего русского обывателя.

В нем несоответствие царизма среднему уровню русской культуры сказалось с убийственной наглядностью.

Царизм уж не имел ни малейшего — ни культурного, ни текущего исторического, ни психического и морального — оправдания. Это был труп, который отравлял все вокруг, и который привлекал к себе все мертвое, заживо разлагающееся. Престол стал язвой, которая отравляла весь организм страны. И понадобилось решительное хирургическое вмешательство.

Постепенное падение изжившего себя царизма можно проследить даже на улицах и площадях резиденции.

В постройках Петра I есть большой размах, есть революционный порыв.

Есть значительность и в памятниках времен Елизаветы. Блеском и роскошью отличаются создания Екатерины II. /246/

Великие исторические переживания эпохи Александра I сказались в величавых созданиях русского ампира, в зданиях Главного Штаба, в грандиозных ансамблях Сената и Синода, здании Адмиралтейства, в величественных творениях гениального Росси, — Александринском театре, Театральной улице, Публичной библиотеке и пр.

При Николае величественный ампир становится сухим, скучным и казарменным, но в нем все еще есть сила.

При Александре II — казенное строительство уже иссякает, впадая в ничтожество при Александре III и в невыносимую пошлость и вульгарность при Николае II.

То же и в обстановке дворцов.

Александр I живет в роскоши величественного ампира. Николай строит много, правда, уже похуже, но сам еще пользуется богатым наследием бывшего величия.

Дальше все хуже, а при Александре III и Николае II цари, даже в отношении внешней культуры, даже в эстетическом обиходе своей жизни, при огромности своих средств, уже отстают от многих частных людей.

Площади украшаются вульгарнейшими памятниками каких-то некультурных ремесленников.

Обстановка собственного жилья Николая II напоминает обстановку разбогатевшего банкира, не очень культурного и лишенного художественного вкуса.

А ведь тут, в области эстетики, двор когда-то задавал тон. Для него строили Растрелли, Росси, Гваренги, Старов и др. Работали художники Боровиковский, Лампи, Левицкий.

А в комнатах Николая II богатая мебель, посредственные или бездарные картины, вульгарные иконы, пошлые олеографии.

Даже и тут, при неограниченных средствах, при неисчерпаемых материальных возможностях — самая безотрадная отсталость от средне-культурного художественного уровня времени.

Впрочем, царствование Николая II представляет одно единственное художественное исключение — памятник — Александру III работы Паоло Трубецкого. /247/

Но этот замечательный памятник и доказывает глубокое недомыслие Николая II.

Это огромное бронзовое недоразумение, которое, стремясь прославить, навеки посрамило, запечатлев подлинный лик коронованного Тараса Скотинина, этот апофеоз отсталости и застоя красноречивее и убедительнее всяких слов.

Впрочем, об Александре III еще возможны споры, как и о некоторых других Романовых. Но Николай II совершенно бесспорен, и сколько бы ни было исторических грехов на русском царизме, все же он мог закончиться не таким бесспорным позором, как царствование последнего из них, он

мог бы свалиться не в такую грязную яму.

Между тем Николай II не был каким-нибудь извергом, не был и злодеем. Историческая Немезида «избледала его из уст своих, потому что он не был ни холоден, ни горяч, а только тепел», той тошнотворной теплотой, которая хуже обжигающего жара и убивающего холода. Ни одно царствование не было таким кровавым и разрушительным, как царствование этого маленького человека среднего ума, средних способностей и дряблой души.

Николай II не был хуже окружавших его. И не его вина, что ни царская мантия, ни огромная власть, ни грозный размах исторического движения не были по росту его малым способностям и мелкой душе. Да и кому они пришлись бы по росту в наши дни?

Царизм исторически пережил себя, заживо разлагался, и Николай II только запечатлел этот распад.

Он сам был обреченной жертвой исторического процесса.

Конечно, не потому погиб царизм, что так плох был Николай II, а потому, что монарх и не может быть хорош.

Царь лично может быть мудр и добродетелен, как Марк Аврелий, но все же монархизм, как и республиканские олигархии меньшинства, обречены, а власть трудовых масс в историческом процессе должна изжить /248/ самую необходимость принудительной власти, и на этом пути вывести человечество из царства насилия в царство свободы.

Русский царизм мог бы еще, путем конституции и парламентаризма, связать свою судьбу с судьбой буржуазии и таким путем пытаться продлить свою агонию. Но и это не спасло бы его, потому что он давно изжил свое историческое оправдание, если он когда-либо и имел его.

Разложение царизма не зависело от личных качеств его носителей. В историческом процессе, как и во всех жизненных процессах, все омертвевшее разлагается либо засыхает, деревенеет, каменеет и сметается с пути процессом строения новой жизни... /249/

11. Великие князья

После Павла семья так наз. Романовых плодилась и множилась. При Александре III это размножение приняло столь угрожающие для государственного бюджета размеры, что пришлось подумать о сокращении. Конечно, не о сокращении рождаемости в великокняжеском племени, а о некотором сокращении их прав на мужицкую мошну. Издано было новое положение об императорской фамилии.

Очень пагубной оказалась фамусовская традиция «порадеть родному человечку».

Царские братья, дядья и племянники получили весьма видные и весьма ответственные назначения. Но именно ответственности-то они по своему положению царской родни не подлежали.

Образования эти родственники, по обыкновению, бывали весьма скудного, знания России у них естественно не предполагалось, дисциплины служебной, государственной они органически для себя не признавали и не было на них ни суда, ни расправы.

Вся орава великих князей была новейшей высокопоставленной опричниной, с которой ни министрам, ни вообще правившей бюрократии, ни тем более населению никакой sprawy не было.

К тому же, так как у них у всех были «царственные» аппетиты и никаких «законных» миллионов им не хватало, то они все безудержно воровали.

Николай Николаевич старший, в качестве главнокомандующего в Турецкой войне 1877-1878 г., настолько /250/ скомпрометировал себя в махинациях аферистов-поставщиков, которые разували

народ и морили голодом по невероятным ценам победоносное русское воинство, что начавшееся было судебное дело против мародеров пришлось замять, дабы не судить заодно с интендантами и поставщиками самого великого князя главнокомандующего.

Михаил Николаевич, бывший наместником Кавказа, воровал там и присваивал великокняжеские имения со всякими естественными богатствами.

Владимир Николаевич вечно нуждался в деньгах, был всегда в долгах и открыл себе хороший источник доходов, когда на месте «убиения» отца его Александра II стали строить грандиозный храм Воскресения.

Деньги на постройку собирали очень долго по всей России, усиленно призывали весь русский народ к жертвам в память «царя освободителя». Председателем строительного комитета был Владимир, и он и жена его Мария Павловна, весело и фривольно покучивавшая с французскими актерами, тащили из денег, стекавшихся на увековечение памяти отца, сколько только могли.

Храм строился очень долго, и многие годы тянулись хищения их высочеств, о чем знали все.

Какой-то секретарь попал даже под суд, ибо, глядя на великого князя, тащили все, кто во что горазд, но подсудимый — стрелочник, предъявил суду записочки Марии Павловны с требованиями о выдаче разных сумм, и дело пришлось скомкать.

Артиллерией ведал Сергей Михайлович, и ничего хорошего, кроме воровства, от этого не получилось.

Флотом ведал Алексей Михайлович, и тут воровство было прямо сказочное. Уворовывали целые броненосцы, которые волшебным образом превращались в умопомрачительные бриллианты, сверкавшие на всяких весьма любимых высочайшим флотоводцем французских опереточных дивах.

Доходило до публичных скандалов, и одна из фавориток Алексея, артистка балета, получила прозвище: *A bas l'état* — к чорту государство. /251/

Знаменитые «калоши» эскадр Рожественского и Небогатова обошлись русскому народу много дороже самых лучших английских броненосцев, и страшное поражение при Цусиме в значительной мере связано со вкусами великого князя Алексея.

Александр Михайлович тоже примазался к делам мореплавания и занимался тайными аферами. Он же являлся одним из инициаторов той злосчастной аферы с концессиями на Ялу, которая и втянула Россию в войну с Японией.

Вел. кн. Сергея Александровича пришлось выводить из Петербурга, где он слишком явно скомпрометировал себя слишком откровенными проявлениями своих гомосексуальных наклонностей.

Его назначили генерал-губернатором Москвы.

Сергей Александрович был огромный верзила, необыкновенно тупой и злобный.

Это был заядлый крепостник, и очень конфузился, что был сыном Александра II, обидевшего помещиков.

Впрочем, сам он, конечно, править был неспособен и при нем активную роль сатрапа играл знаменитый «вахмистр по воспитанию и погромщик по убеждению», ген. Трепов. А при Трепове состояли такие молодцы, как полицеймейстер Власовский и целый сонм натасканных на злобность чиновников.

В Москве была Ходынка, в Москве процвела зубатовщина и вообще был полный разгул опричнины. Главным цензором был В. Назаревский, некогда лакействовавший при Каткове, затем душивший печать, просвещавший рабочих, вовлеченных в зубатовщину, и на всякий случай

бравший взятки.

Там же при великом князе процветал истинно-русский Грингмут, прозванный Грянь-Кнут, и вообще творились чудеса.

А когда Сергей Александрович был разорван бомбой Каляева, ненавидевшие его москвичи жестоко острили, что вот, мол, в первый и единственный раз великий князь раскинул мозгами.

Своим мракобесием Сергей Александрович оказывал пагубное влияние на своего племянника Николая II. /252/ Он усиленно толкал царя в объятия черносотенства и изуверской реакции.

Вообще вся история великих князей — это хроника скандалов всякого рода.

Были между ними люди и более приличного склада, но тех держали в черном теле, никаких влиятельных назначений им не давали и вообще с ними не считались или держали их в явной опале.

Николай Николаевич младший занимался спиритизмом и столоверчением и, по свидетельству Витте, серьезно уверял его, что царь, даже такой, как Николай II, не человек, а нечто большее, нечто среднее между человеком и богом. Если бы он знал Ницше и не был столь религиозен, он, вероятно, сказал бы, что Николай II — человекобог... /253/

12. Александра Федоровна

После Екатерины Россия не знала женской политики.

Жена Павла после его убийства, хотя и имела свой двор, который был в какой-то оппозиции ко двору Александра Павловича и тихой, скромной Елизаветы Алексеевны, но эта оппозиция в конце концов сводилась к внешнему представительству.

Елизавета Алексеевна тихо и скорбно прожила свой век во все бурное царствование Александра I, никем почти, и прежде всего самим Александром, незамеченная.

Не могла иметь своей политики и жена первого Николая, уже по самому характеру его.

Мария Александровна, жена второго Александра, только тем и известна, что внесла в русский царский род наследственный туберкулез. О ней с любовью говорит в воспоминаниях детских лет своих Петр Кропоткин, бывший пажом. С нею «кроткий» Александр II настолько мало считался, что при ее жизни поселил в Зимнем дворце вторую свою жену Долгорукову-Юрьевскую, с которой он, после смерти Марии Александровны, формально, хотя и тайно обвенчался.

«С нею (с Марией Александровной)», — рассказывает Кропоткин, — «плохо обращались. Когда Александр женился на Долгоруковой-Юрьевской, ее просто третировали. Когда до Александра II дошло известие о том, что она умирает в Сан-Ремо, он боялся уже ехать туда и выписал ее. Ее привезли умирающей. Я слышал от /254/ врачей, что на ней было грязное белье, комнаты ее не проветривались, не были убраны».

Конечно, ни в одной, мало-мальски культурной средне-интеллигентской семье, подобное обращение с больной было бы немыслимо...

На принцессу Дагмару, ставшую по наследству от брата женой Александра III, сначала, без достаточных оснований, возлагали какие-то надежды.

Но Александр III был человек тяжелый, суровый и строгий муж по старине, деспотический хозяин в своем доме, и при нем ни жена, ни великие князья никакой своей политики иметь не смели.

На принцессу Алису Гессенскую, которую Александр III, чувствуя приближение смерти, впопыхах сосватал своему сыну, несмотря на то, что она раньше была замужем, никто никаких надежд

не возлагал. И в первые годы царствования Николая царицу как-то не замечали.

Знали только, что эта мелкопоместная немецкая принцесса, англичанка по воспитанию, внучка королевы Виктории, довольно красива, но несимпатична.

Сухая и сдержанная, скрытная и надменная, она и при дворе не нашла друзей и жила как-то одиноко и отчужденно. А жилось при русском дворе, несмотря на весь блеск, азиатскую роскошь и пышность, очень невесело.

Германский кронпринц, гостивший недолго у Николая, пришел в ужас от обстановки царской жизни.

Во время выездов, при обязательных парадах и церемониях, царь и царица так трусили и нервничали, что не могли скрыть своего перепуга от посторонних.

«Однажды», — рассказывает кронпринц, — «вечером, несмотря на поздний час, я хотел зайти к царю побеседовать с ним. Каково же было мое удивление, когда в передней, из которой был ход во внутренние покои государя, я увидел на полу человек сто нижних чинов, которые расположились таким образом, чтобы никто не мог пройти мимо них. Мое неожиданное появление вызвало страшный переполох, сопровождаемый угрожающими возгласами, но когда выяснилось, кто я и /255/ зачем пришел, то все успокоилось и пришло в порядок».

Царь хотел показать кронпринцу один из исторических дворцов. Выехали в закрытом автомобиле.

«Путешествие наше», — рассказывает кронпринц, — «продолжалось около четырех часов и носило невыразимо грустный характер: местность, по которой мы проезжали, казалось, была покинута населением: это объяснялось строгим приказом не выходить на улицу и даже не смотреть в окна при нашем проезде. Видны были только отряды полицейских и солдат, а кругом гробовая, подавляющая тишина. Право, так не стоило жить! Эти миллионы предосторожностей создавали невыносимую атмосферу, в которой нельзя было мало-мальски свободно дышать».

«Я сказал жене», — отмечает кронпринц, — «чем жить так, как в тюрьме, я бы предпочел быть когда-нибудь сразу убитым, и тогда все было бы кончено».

Такова была изнанка той блестящей обстановки, в которую попала бедная принцесса, ставшая женой сказочно богатого, «великого русского самодержавного царя».

Александра Федоровна была болезненно застенчива. На людях лицо ее покрывалось нервными пятнами, губы судорожно подергивались. И была она одинока, ни она никого не любила, ни ее никто не любил. Муж — ничтожный и по уму, и по характеру, серенький офицерик, в котором не было ни на один дюйм монарха. А все остальное кругом — враждебно, или чуждо и непонятно. Николай — единственный человек, в котором все ее надежды, вся жизнь. Он и дети. Но дети — рождаются все девочки, одна, другая, третья, четвертая. Нет наследника, нет опоры для трона, нет будущего.

И у Алисы развивается истерия и... религиозность.

Православие, обрядовое и церковное, оказывается сильнодействующим и опасным средством для немецких принцесс, воспитанных в строгой простоте и скучной сухости протестантства.

Жена Николая Николаевича Старшего, когда тот стал открыто жить с актрисой Числовой, устроила под Киевом монастырь и стала его настоятельницей. Сестра /256/ Алисы, Елизавета Федоровна, после убийства Сергея Александровича, который был не только необычайно туп и жесток, но и страдал извращенными наклонностями, тоже ушла в монастырь и стала какой-то канониссой.

Алиса Гессенская, т.е. Александра Федоровна, стала не только православной кликушей, но даже хлыстовкой.

У нее и у ее сестры была несколько странная наследственность.

Мать, тоже Алиса Гессенская, дочь английской королевы Виктории, в тридцатилетнем возрасте увлеклась шестидесятилетним Давидом Штраусом.

Знаменитый автор «Жизни Иисуса» и других еретических сочинений тогда уже был сильно потрепан и неудачно сложившейся семейной жизнью, и всякими невзгодами и преследованиями за свое «безбожие».

В политическом смысле он стал ярым реакционером, но в вопросах религиозных он до конца сохранил весь пыл своего радикализма.

И вот им-то увлеклась жена наследного принца Гессен-Дармштадтского.

Штраус сделался самым частым ее гостем. Он прочел ей ряд лекций о Вольтере и затем, с ее согласия, посвятил ей изданную им биографию Вольтера.

Во всяком случае, можно отметить, что интерес к религиозным темам был у нашей Алисы в некотором роде наследственным. Интересна также и та «дистанция огромного размера» от Давида Штрауса к Григорию Распутину, которая отделяет мать от дочери. Любопытно и то, что интерес этот обусловил знакомства и личные увлечения, не совсем обычные для представительниц царствующих домов.

Впрочем, до Распутина Александра Федоровна и Николай опустились не сразу. Сначала был французский шарлатан, доктор Капюс, был мясник из Лиона Филипп, были разные юродивые — Митя-прозорливец и другие.

До какой опасной степени доходила истерия Александры Федоровны, видно из примера ее ложной беременности. /257/

Навязчивая идея о ребенке мужского пола, о наследнике, до того овладела царицей, что, под влиянием Филиппа, она вообразила у себя беременность, чувствовала все ее обычные симптомы и даже соответственно пополнила.

Все и при дворе, а затем и в стране знали про эту беременность, ждали ее; ждали в случае рождения мальчика амнистии и «всемиловейшего» манифеста. Но миновали все времена и сроки и все оказалось... пухом. Беременность оказалась бредом истерички. Однако никто не мог поверить, что беременность была лишь воображаемой, и «верноподданные», смущенные невразумительным официальным сообщением, непочтительно декламировали стихи Пушкина:

Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь:
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку.

Получился скандал не хуже сербского, когда королева Драга объявила о своей беременности, а царь Николай согласился быть восприемником ожидаемой опоры сербского трона, и в Белград был послан лейб-акушер, которому пришлось только констатировать, что никакой беременности нет, а есть только обман. У нас же, по-видимому, был только самообман.

Когда вскоре после этого разразилась белградская дворцовая катастрофа и королевская чета была убита, иные «верноподданные» покачивали головами и пророчили такой же «сербский» конец Николаю с Александрой.

Впрочем, через несколько лет Александра Федоровна действительно забеременела и после четырех дочерей родила, наконец, сына.

Но в то время она уже стала впадать в то религиозное помешательство, которое затем приняло такую ужасную форму.

Так как и она, и Николай все время взывали к богу и молили о даровании сына, то они искали подвигов святости, придумывая, чем бы подкупить бога. Кто-то надоумил их открыть новые мощи

и провозгласить нового святого. Остановились на Серафиме Саровском. /258/

Поехали с большой помпой и, конечно, с большими предосторожностями, в Саров, царица там ночью искупалась в чудодейственном источнике, новый святой был возведен в чин. Это происходило в июле 1903 г., а год спустя, в июле 1904 г., Александра Федоровна родила сына...

Этим «чудом» и без того психически неустойчивая Александра Федоровна и «скорбный главою» Николай были окончательно выбиты из колеи. Религиозная мистика в самых темных, некультурных формах совершенно овладела ими и способность к логическому мышлению была ими утрачена навсегда.

Между тем, чудо-то оказалось сомнительным, не только в своей фактической основе — мало ли женщин после нескольких девочек рожают мальчика без всякого участия святых, или даже при участии совсем не святых, но чудо оказалось весьма двусмысленным по своим последствиям.

Если бы Александра и Николай еще сохранили остатки здравого смысла, то они должны были думать, что святой старец, в чудодейственность которого они так твердо верили, зло посмеялся над ними.

Наследник-то родился, но мальчик оказался пораженным страшной, таинственной и неизлечимой болезнью.

Редкая болезнь кровоточивости передается только мужскому потомству и ежеминутно угрожает жизни больного, так как малейшее случайное кровотечение может окончиться смертью, ибо кровь утратила способность свертываться и кровотечение очень трудно остановить.

Наследник с трудом ходил, и в 7—8-летнем возрасте его носил на руках приставленный к нему матрос.

Вместо радости, рождение наследника внесло в семейную жизнь царской четы вечный страх и ужас. И в политическом отношении появление наследника вместо упрочения трона, вносило только новую путаницу и неопределенность.

Ближайший после Николая сын Александра III — Георгий, умер от чахотки, следующий, Михаил Александрович, здоровый, хотя и недалекий (Витте считал его /259/ еще менее одаренным, чем Николай, даже родная мать, Мария Федоровна утверждала, что Михаил и глупее, и безвольнее Николая), с рождением Алексея был разжалован из наследников, а больной и хилый мальчик, ежедневно умирающий, только занимал место, которого он в действительности никогда занять не мог...

В минуты уныния от своей неудачливой судьбы Николай II вспоминал, что он родился в день Иова многострадающего.

Ходынка, японское позорище, 9-е января 1905 года, революция, убийства стольких сановников, несчастная конституция, полупомешанная истеричка жена, безнадежно-больной наследник, наконец, весь распутинский позор, мировая война и последняя революция.

Это стоит и мрачного запоя жены Василия Фивейского, и истребительного пожара, и сына идиота и последнего крушения веры, когда желанного, спасительного чуда не случилось.

О Николае можно было сказать, как и о Василии Фивейском: «особенный, казалось, воздух, губительный и тлетворный, окружал его, как невидимое прозрачное облако».

И как не по росту, не по фигуре Николаю была императорская мантия, в которой он бывал только смешон, так не по росту его психической личности были исторические катастрофы и несчастья его жизни. Среди грандиозных катастроф, среди ужасов и бедствий шекспировского размаха, этот царь-недотепа был только жалок.

И крупнейшим несчастьем Николая II была его жена.

Переписка Александры Федоровны с Николаем ярко рисует и эту несчастную женщину, и всю удушливую атмосферу жизни последнего Романова.

Алиса Гессенская в первый приезд свой в Петербург не понравилась и была отослана назад.

Можно представить себе, с какими чувствами и к России, и к царской семье вернулась отвергнутая девушка на свою маленькую родину, в свою семью... К тому же она еще до отъезда испытала всю гнусность обычного придворного холопства. /260/

Вначале перед нею заискивали и лебезили, как перед будущей наследницей и императрицей.

Когда же выяснилось, что она отвергнута, те же пресмыкавшиеся сановники и придворные холопы стали третировать и без того униженную и оскорбленную девушку.

Когда же, ввиду неожиданно смертельной болезни Александра III, некогда было выбирать — императору ведь жениться куда сложнее, чем наследнику, — бедная немецкая принцесса должна была затаить свои чувства и вновь отправиться в эту ужасную Россию. От таких партий бедные принцессы не отказываются.

А чувства Алисы были нерадостные.

Она ненавидела «дикую» Россию, ей был противен вынужденный переход в православие, она питала отвращение к Николаю.

Вместе с Алисой приехала в Россию, в качестве приближенной дамы, баронесса Дзанкова, которая издала свои мемуары.

«Я ненавижу его, я ненавижу его!» — истерически твердила Алиса своей поверенной, говоря о Николае.

«Я, зная тайну сердца будущей императрицы и видевшая, какое чувство отвращения она питала к своему мужу, я не могла прогнать от себя мысли о жизни, какую придется ей вести в далекой чужой стране, о том, сколько горя и слез ей там придется пролить».

Действительность оказалась гораздо хуже и совсем иной, чем предвидела приближенная дама Александры Федоровны.

Ее сопротивление переходу в православие было, конечно, сломлено и это насильно навязанное ей вероисповедание проникло ее всю до степени дикого изуверства. И навязанный ей нелюбимый муж стал любимым и дорогим, и Россия, та, какую она только и могла ее чувствовать, понимать и воспринимать, стала родной этой англо-немецкой принцессе, и роднился с ее душой именно темный лик России, жестокость, дикость, Россия крепостнических и холопских традиций, национальной нетерпимости, Россия черных сотен, непримиримого застоя, Россия, искаженная всем наследием своей жестокой /261/ и нескладной истории, Россия кровавого царизма, темного изуверства, пережитков татарско-византийского наследия.

Другой России Александра Федоровна не знала, не понимала и не признавала.

И в **этой** России единственной ее опорой был Николай, в котором ей так хотелось видеть настоящего самодержца, повелителя, перед которым все и вся должны были трепетать.

Отсюда и ее воистину «бессмысленное мечтание» сделать из Николая II Николая первого.

Та Россия, которую она только и могла знать, Россия придворного холопства, Россия сановной челяди, естественно вызывала с ее стороны глубокое и заслуженное презрение.

И этим презрением уснащена вся ее переписка с Николаем.

«Дураки», «мерзавцы» — такие эпитеты так и пестрят в ее отзывах о министрах, о дипломатах, о членах Думы.

«В ставке сплошь идиоты», — пишет она, — «в синоде одни только животные», даже такой близкий человек, как знаменитый «генерал от куваки», получает полуласковую характеристику: «Воейков — трус и дурак»!

«Всюду лжецы и враги»...

«Министры мерзавцы; хуже, чем Дума»...

Ясно, что в оценках Александры Федоровны — не все ложь.

Николая она все время усиленно наставляет и толкает на путь самодержавия.

«Милушку всегда нужно подтолкнуть и напоминать ему, что он есть император и может делать все, что ему хочется... Ты должен показать, что у тебя свои решения и воля».

«Как им всем нужно почувствовать железную волю и руку; до сих пор твое царствование было царствованием мягкости, а теперь оно должно быть царствованием власти и твердости — ты повелитель и хозяин России», — пишет Александра Федоровна своему царственному недотепе.

«Когда, наконец тыхватишь рукой по столу и закричишь /262/ на Джунковского и на других, если они не правильно поступают?..»

«Будь более автократом, моя душка, и покажи себя».

И царица всех ревнует к власти своего мужа:

«Ах, мне не нравится, что Николай участвует во всех этих больших заседаниях, в которых обсуждаются внутренние вопросы... Он импонирует министрам своим громким голосом и жестикуляцией. Я временами прихожу в бешенство от его фальшивого положения... Никто не знает, кто теперь император... Похоже на то, что Николай все решает, выбирает, сменяет. Это меня совершенно убивает... все дают тебе дурные советы и злоупотребляют твоей добротой...»

С одной стороны, опасен главнокомандующий Николай Николаевич, потому что, как он ни плох сам по себе, но все же становится популярнее царя; опасна и Дума, опасен Гучков, которого «следовало бы повесить».

«Россия, слава Богу, не конституционное государство, хотя эти твари пытаются играть роль и вмешиваться в дела»...

Александра Федоровна даже знает, какова Россия и что ей нужно, что нужно «нашему» народу...

«Мы не конституционное государство и не смеем им быть. Наш народ не подготовлен к этому, и, слава богу, наш император — самодержец... Только ты должен выказать больше силы и решимости. Я бы их быстро убрала»...

И все эти политические выпады и сентенции сопровождаются любовными излияниями, порою эротическими интимностями, которые и цитировать неловко, как вообще неловко врываться в супружескую спальню.

Порою их и невозможно печатно цитировать. Все эти бесчисленные поцелуи, объятия, ласки звучат почти искренно и свидетельствуют о том, что Александра Федоровна крепко привязалась к своему мужу и в ее безотрадной жизни это все, что ей оставалось: муж и дети. А политика внутренняя и внешняя — это ведь естественная атмосфера, в которой и ей, и Николаю приходится жить, это их обстановка, их хозяйство, их /263/ неизменный антураж. С этим приходится на

каждом шагу считаться, от этого зависит безопасность, положение, будущность ее, его и детей.

И Николай привык чувствовать в жене единственную прочную опору, единственного человека, все интересы которого вполне совпадали с его интересами. Все остальные были подозрительны, преследовали свои особые интересы, старались играть на его слабости. Одна жена будила в нем силу и даже утешала его в безволии, от сознания которого он так страдал.

«И ты покорил тысячу сердец, наверное, твоим милым, нежным, кротким существом и сияющими, чистыми глазами. Каждый покоряет тем, чем бог его одарил... Каждый своим путем»...

Александра Федоровна покорила также Николая своею ярко выраженной истеричностью. Сопротивляться ее воле было опасно, потому что это вызывало тяжелые истерические припадки, которых вообще уравновешенный, «тихий» и бестемпераментный Николай не выносил. А за истериками следовала полоса мрачной меланхолии, которая угнетала Николая. И Николай привык уступать жене во всем.

И не трудно было ему уступать, потому что он совершенно сроднился с больной душой своей жены. И он тоже уверовал в то, что Распутин послан ему богом для спасения трона и династии, что устами этого темного и хитрого проходимца глаголет сам господь.

Во время какой-то перевязки, которую с обычными асептическими предосторожностями профессора делали наследнику, под подушкой у него с ужасом находят грязную, заношенную жилетку.

— Это так надо, это для исцеления, — лепечет Николай, — это жилет Григория Ефимовича.

Все тяжелые переживания рокового царствования, безотрадное тюремное существование в раззолоченной клетке Царского Села, одиночество душевное, непрерывно настороженная подозрительность во враждебной атмосфере, в неразрывной сети интриг, — все это превратило психически неустойчивую женщину с плохой нервной наследственностью в опасную маньячку.

/264/

Александра Федоровна почти всегда чувствует себя больной и несчастной.

«У меня каждый день болит голова», — пишет она. — «Я чувствую сердце»...

«До смерти устаю: сердце болит и расширено... Временами чувствую, что больше не могу, и тогда накачиваюсь сердечными каплями»... «На сердце такая тяжесть и такая грусть... такая горечь на сердце и на душе»...

«Я пришла домой и потом не выдержала — расплакалась, молилась, потом легла и курила, чтоб оправиться...»

И вот эта больная, истеричная, почти помешанная женщина хватается за Распутина — и в нем ее помраченная душа, ее затуманенный ум видят последнее и единственное спасение.

В этом враждебном мире он один «друг». Из ее переписки с Николаем видно, как после двадцатилетнего супружества в ней сильно разыгралась чувственность, в этом столь опасном для женщины сорокалетнем возрасте.

А тут этот необычайный мужик, такой особенный, столь непохожий на всех в окружающем ее мире... И как он одновременно умеет действовать и на беспокойную, истерическую чувственность, и на больные нервы, и на сбитую с толка религиозную жажду.

«Бог для чего же нибудь послал его нам», — пишет она Николаю.

«Очень важно, что мы имеем не только его молитвы, но и его советы».

«Надо всегда делать то, что он говорит. Его слово имеет всегда глубокое значение».

«Не слушайся других, только нашего Друга».

«Григорий кашляет, и волнуется по поводу Греции».

Государственная Дума, министры, вся внутренняя политика, даже отношения к семье, к великим князьям, политика внешняя, даже вопросы тактики в дни страшной войны — все это в руках Распутина, и через Александру Федоровну он руководит Николаем.

«Наш Друг просит тебя послать телеграмму сербскому королю, так как он очень тревожится; прилагаю /265/ тебе бумажку, которую ты можешь использовать для твоей телеграммы; изложи смысл своими словами»...

«Должна тебе передать следующую просьбу от нашего Друга, внушенную ему ночным видением. Он просит тебя **приказать**, чтобы начали наступление возле Риги. Он говорит, что это необходимо. Он просит тебя **серьезно** приказать нашим наступать и говорит, чтобы я написала тебе об этом немедленно».

И военачальникам приходилось считаться на войне, где дело шло о жизни многих тысяч русских людей, с пьяным или шарлатанским бредом темного проходимца, который, однако, своего-то сына, при помощи Александры Федоровны и царя, освободил от призыва...

При дворе Николая и Александры Федоровны не было обычного дворцового разврата.

Но были и до появления Распутина большие странности.

Странны были отношения Александры Федоровны к Орлову, единственному человеку, который отнесся к ней по-человечески в те темные дни, когда Алису, не понравившуюся, отсылали ни с чем.

И Александра Федоровна, и Анна Вырубова, по-видимому, обе были весьма равнодушны к этому блестящему офицеру, злоупотреблявшему наркотиками и обнаружившему патологическую жестокость при усмирении в Прибалтийском крае. Но обе женщины как-то делили эту любовь, вместе чтили его память и вместе украшали цветами его могилу.

Еще страннее и патологичнее отношения Александры Федоровны к Анне Вырубовой.

В письмах она то возмущается ее развращенностью, то говорит о том, как она вульгарна, неаппетитна, как неизящны ее ноги и живот, и предостерегает Николая от ее назойливости, от любовных сцен, «как в Крыму», то передает мужу нежные поцелуи от этой его любовницы и просит Николая быть с нею поласковее в письмах и телеграммах.

Почти нигде нет выражения ревности, иногда только проскальзывает чувство не столько ревности, сколько соперничества. /266/

«Когда Аня говорит о своем одиночестве, это меня сердит. Она дважды в день к нам приходит, каждый вечер она с нами проводит четыре часа, и ты — ее жизнь, и она ежедневно получает ласки от нас обоих. Жажду держать тебя в своих объятиях. Кто бы ни посмел тебя называть “мой собственный”, ты все же мой, мое сокровище».

Здесь есть все, есть и несомненная половая ненормальность, есть и холодный расчет, та «система», которая всегда сквозила и в самом безумии Александры Федоровны. Она систематически опутывала свою сеть Николая, а через него мечтала опутать и всю Россию, в интересах своих и своего несчастного, неизлечимого сына.

Бывает у безумных людей эта удивительная последовательность, логичность и прямолинейная твердость в преследовании ими какой-нибудь бредовой идеи.

Здесь это опасное безумие было страшно тем, что злобный эгоизм недалекой, некультурной и болезненно упрямой женщины играл судьбами полутораста-миллионного народа... /267/

13. Государственное распутство

Царствование Николая II было временем глубоко трагическим. Редкому поколению людей выпадают на долю трагические переживания такой силы, какие выпали нам. Но в облике последнего царя не было решительно ничего трагического. Как только дело касалось Николая II, в трагизм истории неизменно врывалась какая-то нелепость, то непристойность фарса, то такая наглядная несообразность, какая ни в какую логику не вмещается.

При дворе, где обязанности святых исполняли Филипп и какой-то юродивый Митя, мог появиться и Распутин.

Сибирский челдон, с молодых лет отличавшийся пьяной и распутной жизнью, откуда и прозвище Распутин, вдруг увлекся религиозными интересами, шлялся по монастырям и сочинил для себя своеобразное хлыстовство.

Когда «старец» появился в Петербурге, ему было лет сорок. Он, по-видимому, обладал большой психической силой, способностью внушения и незаурядной физической силой. При большом темпераменте и избытке жизненности и живучести Распутин страдал приапизмом и эротоманией.

Все это обуславливало его огромное влияние на женщин, его власть над ними, особенно, конечно, над женщинами неуравновешенными, истеричными.

Его «религиозное» учение создалось на почве его физиологических особенностей. /268/

— Греху не надо противиться, — учил он, — а надо ему отдаваться, чтобы им очиститься, Чистому все чисто.

Эта удобная мораль соблазняла. Экстазы религиозный и сексуальный нередко сплетаются.

Распутин был по-своему умен, хитер, очень себе на уме. Притом у него было одно редкое и весьма ценное свойство.

Распутин умел и смел быть и оставаться самим собою.

Это кажется так просто, но в этом чаще всего секрет сильной личности и ее влияния на других.

В безотрадную, темную, тюремную и жалкую жизнь царской семьи, с ее единственной надеждой и отрадой — наследником, отравленным страшной и таинственной болезнью, этот сибирский мужик явился, как некое откровение из другого таинственного, неведомого мира.

И этот удивительный мужик держал себя так просто, так свободно и непринужденно, как никто не держит себя в придворном мире. В этот мир условности и нарочитости, возведенной в торжественно-парадный культ, ворвалась жизнь, грубая, сырая, непосредственная.

Естественно, что среди всей этой раззолоченной фантазмагии личин, какое бы то ни было подлинное лицо производило впечатление необычайное. И этот крепкий, полный напряженной жизненной силы мужик не мог не производить сильного нервного воздействия и на истеричную женщину, и на хилого, болезненного мальчика, а через них и на зыбкую психику неустойчивого, безвольного, растерянного Николая.

Загадочные изречения Распутина, то темные и нескладные, то неожиданно меткие и яркие, казались откровениями людям, привыкшим только к шаблонам и условностям, отштампованным в установленные словесные формы.

Пошатнувшаяся психика Александры Федоровны и бесцветная психика Николая были совершенно подавлены более крепкой и устойчивой психикой хитрого проходимца. /269/

И не только царская чета поддалась этому наваждению.

В светском, скептическом Петербурге, где никто никому и ничему не верит, где первым признаком хорошего тона считалось относиться ко всему серьезному и важному в жизни, как к совершенным пустякам, а серьезное значение придавать исключительно пустякам, там вдруг многие уверовали в сибирского проходимца как в пророка и святого. Самая пустота жизни опустошенных душ готова была принять в себя всякое содержание, лишь бы на нем не было печати постылой обычности.

А в этом свете Распутин был, конечно, в высшей степени необычен.

В основе некультурная, блестящая светская чернь, которой двор традиционно задавал тон, преклонилась перед этим необычным мужиком, который был освящен придворным штемпелем и который был так непохож на других.

Кроме того, на женщин, которые не находили успокоения ни в обычной, ставшей слишком пресной, казенной вере, ни в обычном, потерявшем остроту разврате, этот мужик, со своим откровенно грубым эротизмом, уснащенным религиозно-сектантским пустосвятством, был особенно соблазнителен.

А мужчины... те скоро увидели, что и истеричная царица, и скорбный главою царь очутились во власти этого проходимца. Открылся новый путь для проведения всяких вожделений, для неожиданных карьер и осуществления темных дел.

И настало нечто до того удивительное, чего никогда, кажется, и нигде в таком соблазнительно откровенном виде и размере не бывало.

Никакие фривольные новеллы, никакая порнографическая литература не являла ничего подобного тому, что происходило въезжая в столичный городе Петербурге в XX веке, на «высоте» престола и в самом высшем, самом избранном, самом блестящем и сановном обществе.

Распутин до конца оставался во всем самым собою. Свои эротические вожделения он проявлял открыто, на глазах у всех. /270/

С дамами самого высшего света его встречали выходящим из бани, и не только с дамами, но и с барышнями. Напиваясь в ресторанах, он открыто хвастал своими похождениями и отношениями к царской семье. Всяким цыганам и девицам из шантана он показывал свои шелковые сорочки, вышитые собственноручно «Сашей», т.е. Александрой Федоровной. И полиция всякого рода, и сыщики трех ведомств только и заняты были тем, чтобы охранять жизнь и спокойствие этого проходимца и по возможности затушевывать эти публичные скандалы.

Шестою частью земного шара, населенною полуторастами миллионами людей всяких народностей, правил самовластно и самодержавно темный эретоман.

Слово, всякий каприз Григория Распутина — стали законом для царицы, а царь уж давно был в полном подчинении у жены.

Конечно, всякий обыватель имеет неотъемлемое право быть под башмаком у жены, и Николай никак не мог понять, почему он, самодержавный и коронованный, не должен иметь этого обывательского права.

И этот увертливый, внешне податливый человек, тут, когда дело касалось полупомешанной истерички жены и ее «друга» Распутина, обнаруживал совершенно исключительную твердость и упрямство.

Самые близкие к царю сановники, люди, которых он уважал и ценил, немедленно теряли расположение царя, свои места и положения, как только они обнаруживали малейшую безгловость к Распутину.

С другой стороны, самые отпетые негодяи, тупицы и бездарности получали феерические повышения, назначались на самые ответственные должности, вплоть до министров, в самые

ответственные моменты, если только они умели подделаться к Распутину.

Безграмотные каракули Распутина на клочках бумаги становились актами высочайшей воли, обязательными для всех.

И вот, на Гороховой, где жил Распутин, ограждаемый и охраняемый сыщиками, за которыми, в свою очередь, наблюдали другие сыщики, под бдительным надзором высших чинов, директора департамента полиции /271/ и самого министра внутренних дел, открылась лавочка, где темный сибирский челдон, именем царя и царицы, открыто торговал самодержавием.

Распутин не был ни особенно жаден, ни особенно корыстен. Во всяком случае, менее жаден и менее корыстен, чем другие высокопоставленные взяточники и мздоимцы. Притом у него дело было вернее: ему ни в чем отказу не было. Плохо только приходилось дамам или девицам, если они были молоды и красивы и им приходилось прибегать к протекции Распутина.

Без взятки натурой Гришка для таких ничего не делал. Но было немало и таких дам из высшего общества, которые без всякой деловой корысти льнули к Распутину, льстили ему, подделялись к нему, унижались перед ним и добивались его мужской благосклонности.

И все это почти открыто, на глазах у всех и мало стесняясь одна перед другой. Были и такие, что униженно за немалые деньги вымаливали у домашних Распутина его заношенное грязное белье и чем заношеннее, чем грязнее — тем лучше и дороже.

Никогда еще распутство с такой бесстыдной обнаженностью не становилось государственным установлением.

Дошло до того, что созыв или роспуск Государственной думы, смена министерства, война и мир зависели от Распутина.

Для того чтобы стать министром, губернатором, архиепископом, архиереем, обер-прокурором «святейшего» синода, надо было не побрезгать Распутиным, пройти через его переднюю или допустить, чтобы жена или дочь, если они молоды и красивы, прошли через распутинскую спальню.

Те же, которые уже занимали высокие положения, созданные годами царской службы, заслугами и знатностью предков, должны были обнаруживать свою преданность Распутину, не брезгать им, при случае унижаться перед ним и во всех случаях поддерживать его, беспрекословно исполнять его словесные или каракулями начертанные приказания. Иначе никакие заслуги, никакая близость к царю не спасали. /272/

Наряду с этим шли толки об интимных отношениях Распутина к царице и даже к дочерям царским. Говорилось об этом открыто и уверенно.

Когда уже во время последней войны Николай, неведомо за что, а по одному лишь холопству георгиевской орденской думы, получил георгиевский крест, солдаты открыто говорили:

— Царь с Георгием, а царица с Григорьем.

Сам Распутин в пьяном виде, в кабаках открыто хвастал своею близостью с «Сашей», на какой почве происходили скандалы, которые начальству и полиции не всегда удавалось замять.

Такой скандал, между прочим, произошел у «Яра» в Москве, и генерал Джунковский, не сумевший или не пожелавший его замять, слетел с места и впал в окончательную немилость Александры Федоровны, а, следовательно, и Николая.

Александра Федоровна, при всей своей скрытности и сдержанности, афишировала свою близость к Распутину.

Как же относился ко всему этому Николай, у жены которого оказался такой «друг»?

Николай также относился к нему, как к другу, и стоял за него горой.

Удивительно интересная черта есть во всем этом распутстве — здесь совершенно нет драм ревности. Не нашлось ни одного мужа, который отомстил бы за честь жены, ни одного отца или брата, который отомстил бы за честь дочери или сестры.

И еще удивительнее, что даже женщины не ревновали друг дружку из-за Распутина.

Самым близким лицом к Распутину, его секретарем, поверенной, чиновницей особых поручений и т.д. и т.д. стала Анна Вырубова, дочь сановника Танеева, занимавшего видный пост.

Эта же Анна Танеева, скоропостижно выданная Александрой Федоровной замуж за флотского офицера Вырубова, обретавшегося постоянно в дальнем плавании, была единственной, кажется, фавориткой Николая после его женитьбы. /273/

И в этом выборе сказался вкус Николая, соответствовавший вульгарности всей его жизни и личности. Неизящная, толстая и неуклюжая, неумная фаворитка Николая стала самым близким другом его жены. Она же, Анна Вырубова, была главной и самой доверенной посредницей между Александрой Федоровной и Распутиным. Через нее же шел вернейший путь к протекции Распутина. Вообще Анна Вырубова была главой распутинской секты.

Александра Федоровна не ревновала к Анне Вырубовой ни Николая, ни Распутина, Николай не ревновал к Распутину.

Но обычных «распутинских» отношений между Распутиным и царицей, может быть, и не было.

Впрочем, Илиодор (Сергей Труфанов), в своих записках, озаглавленных «Святой чорт», приводит такой рассказ Распутина:

«Дорогой он мне говорил о царе с царицей, о наследнике, о великих княжнах, говорил он следующее:

“Царь меня считает Христом, царь, царица мне в ноги кланяются, на колени передо мною становились. Царица клялась, что если от Гриши все отшатнутся, она не поколеблется, но вечно будет считать его своим другом”».

Конечно, Александра Федоровна была во многих отношениях совершенно невменяема.

Вся во власти темных суеверий и узкого фанатизма, она жила в каком-то кошмарном, призрачном мире.

У Александры Федоровны православие превратилось в хлыстовское изуверство, самодержавие — в мечту о превращении Николая II в Николая I, народность... в увлечение Распутиным, устами которого в ее болезненном воображении говорил подлинный русский народ, Микула Селянинович и его сила черноземная.

Немецко-английская принцесса видела Россию и народ русский только сквозь пестроту реющих трехцветных флагов, в блеске военных и гражданских мундиров, в громе салютов и криках «ура». И она воображала, что в этих криках, раскатывавшихся сквозь частоколы солдатских и полицейских мундиров, звучит подлинная любовь народная к ней, русской царице, и к ее «царственному» сердцу. /274/

В том тумане, в котором жила Александра Федоровна, действительность теряла свои реальные очертания, тут все было фантастично, неведомо и... страшно. Все, что было вблизи, все, что отделяло ее от обожающего царей загадочного народа, было враждебно. Исключение — один Распутин, колдун, чародей и пророк, пришедший оттуда, из того загадочного мира. В нем одном все спасение для нее, для самодержавия, для больного наследника, для этого единственного ее

мальчика, в котором вся будущность ее и России.

И, конечно, перед Распутиным и его вожделениями не могли устоять многие натуры, с психикой и не столь расшатанной, как у Александры Федоровны.

Но Распутин был мужик хитрый, лукавый и очень себе на уме. При всей необузданности своей натуры, он едва ли рискнул бы дать ей полный простор во дворце. Он знал, что у него много врагов, прежде всего, во всей царской семье, а рисковать своим положением Распутин, в трезвом, по крайней мере, состоянии, не стал бы. А во дворце он ведь не пьянствовал, не напивался. Тут он мог владеть собою.

Притом... Распутин был слишком избалован петербургской знатью.

А царице во дни его фавора было сорок лет и в этом опасном для женщин возрасте она уже была некрасива, несвежа. Лицо ее, особенно губы, часто подергивались судорогами, нервные пятна покрывали его, выражение же ее лица никогда не отличалось особой привлекательностью.

Распутину нетрудно было сдерживать себя.

Распутина убили. Убил Пуришкевич, подробно рассказавший об этом в своем дневнике; участвовали в убийстве кн. Сумароков-Эльстон и вел. кн. Дмитрий Павлович.

Из этого убийства тогда пытались сотворить героическую поэму. Но как ни восторженно рассказывает об этом Пуришкевич, героического все-таки выходит очень мало.

Заманили безоружного Распутина четверо вооруженных людей в особняк Сумарокова-Эльстона. Приманкой /275/ служила — правда, отсутствовавшая — красавица жена Сумарокова-Эльстона, с которой Распутина обещали устроить знакомство. Травили Распутина цианистым калием и в вине, и в пирожках, стреляли в него из двух револьверов, разбивали голову кистенем и еще чем-то, а потом стали — правда, неумело — но весьма обдуманно прятать концы в воду.

Пуришкевич скрылся, уехав в своем санитарном поезде, остальные участники, в том числе и великий князь, давали ложные показания и всячески отрицали свое участие...

Все это на героическую поэму как-то мало походит по стилю...

Притом, самое убийство Распутина... не напоминает ли это «доброе, старое» крепостное время, когда за провинившегося барчука секли его сверстника дворового мальчишку...

Не та же ли тут старая крепостническая психика?.. /276/

14. Катастрофа

Когда П.Н. Дурново, старый и опытный бюрократ и царедворец, предсказал Витте, что Николай II будет «вроде копии Павла Петровича, только в нашей современности», — это оказалось вполне оправдавшимся пророчеством.

Действительно, у «воспитанного», вежливого и застенчивого Николая, внешне очень податливого и увертливого, но внутренне чрезвычайно упрямого, не могло быть тех эксцессов прямой жестокости и необузданного бешенства, какие были обычны у Павла.

Но политика Николая, по своему безумию, нелепости, растерянности и непристойности, далеко оставила за собою все безумства сумасшедшего Павла.

Среди великих князей открыто говорили об опасности, угрожающей династии. Об опасности для России никто из них, конечно, не задумывался. А вот опасность для династии — это был вопрос шкурный, близкий и понятный всем членам дома Романовых.

Но с дней Павла прошло больше столетия.

Если стали невозможны со стороны царя те грубые и резкие проявления безумия, какими отличался Павел, то и все члены семьи Романовых как-то измельчали, выродились, утратили энергию и стали неспособны на дворцовый переворот. О необходимости устранения Николая II говорили, шептались; у иных, у Николая Николаевича, у Владимировичей, даже стали разыгрываться вожделения, но дальше разговоров и шушуканья дело не пошло. Даже на убийство Распутина /277/ потребовалась решимость стороннего человека, Пуришкевича, которому один из великих князей только помогал.

Была еще опасность.

Александра Федоровна, среди всяких своих одержимостей, была одержима также манией самодержавия, а так как из Николая II никак невозможно было выкроить настоящего самодержца в стиле Николая I, то явилось опасение, что Александра Федоровна вздумает сыграть Екатерину II. Тем более, что роль Петра Федоровича была Николаю более к лицу, чем роль Николая I.

Явились предположения о необходимости обезопасить династию от Александры Федоровны, заперев ее в монастырь.

Особенно усилились толки о необходимости избавиться от Александры Федоровны во время войны.

Хоть и англичанка по воспитанию и полу-англичанка по происхождению, она все же была немецкой принцессой, и родной брат ее дрался против России. Шли толки об измене царицы, об ее симпатиях к немцам, о предательской переписке с Вильгельмом и т. д.

Возбуждал сомнения и патриотизм Распутина, а назначение Штюмера, ставленника Распутина и царицы, человека с немецкой фамилией и вообще весьма подозрительных качеств, подлило масла в огонь.

О Распутине, даже о царице, о темных безответственных силах заговорили даже в Государственной Думе, заговорили не только Милюков, но даже такой отъявленный монархист, как Пуришкевич.

А Николай, как нарочно, все больше попадал под влияние жены и Распутина. Правительство стало общим посмешищем, презираемое всеми.

Кавардак был совершенно неопиcуемый. До Штюмера, до этого героя разгрома тверского земства, до этого субъекта, имевшего определенную репутацию вора и низкого льстеца, Николай дошел не сразу, а после головокружительной министерской чехарды.

Побывал в министрах Н. Маклаков, потешавший царя изображением «прыжка влюбленной пантеры» /278/ и проводивший с веселой наглостью откровенно черносотенную политику.

Был необыкновенно развязный Хвостов, который при докладах царю надевал погромный значок союза русского народа с лентами; был Саблер, переименовавшийся в Девятовского и лебезивший перед Распутиным, Саблер, о котором Победоносцев, на вопрос, почему он терпит подле себя такого субъекта, мог только сказать:

— А кто нынче не подлец?

Был даже Курлов, о назначении которого постеснялись опубликовать через Сенат, так что в Сенате отказались принять какую-то бумагу, подписанную им, как товарищем министра внутренних дел. Наконец, был Штюмер с Протопоповым, который оказался просто сумасшедшим, и именно тогда, когда его прогрессивный паралич стал явным, он показался Николаю самым подходящим министром.

Вновь назначенные министры не решались переезжать на казенные квартиры, или на всякий

случай оставляли за собой свои частные квартиры. Случалось так, что министр, после доклада у Николая, выносил уверенность в прочности своего положения, начинал переезд на казенную квартиру и утром, не успев еще устроиться, среди беспорядка только что перевезенной обстановки узнавал из газеты о состоявшемся своем увольнении.

И все это происходило во время страшной войны.

Франция рада была случаю свести старые счеты с Германией. Англия рада была случаю разрешить свое соперничество с Германией в мировой торговле, Николай, обжегшийся на своей дальневосточной политике, обрадовался случаю взять реванш на Ближнем Востоке, а дельцы, поставщики и заводчики заранее учитывали бешеные траты, барыши и аферы. И все это будто бы из-за Сербии. Перебито и перекалечено было людей в несколько раз больше, чем все население Сербии, разорены были территории, тоже во много раз превышавшие всю территорию Сербии, и истрачено было средств неизмеримо больше, чем стоила вся территория и все имущество Сербии. /279/

Бывший тогда французским послом в Петербурге Палеолог очень откровенно в своих мемуарах рисует роль России в этой войне с точки зрения союзной Франции. Так как Германия была сильнее Франции и могла очень быстро ее раздавить, то Россия должна была поставлять в возможно большем количестве пушечное мясо, которое своей численностью отвлекало бы возможно большую часть немецких войск.

И целые корпуса посылались на явную гибель, без всякой надежды и без всякой возможности успеха, лишь бы трупами сотен тысяч русских крестьян и рабочих отвлекать немцев.

Война велась так, что жителям театра военных действий, т.е. губерний западной полосы России, свои были страшнее врагов. Поголовные выселения, грабежи, погромы и самая разнузданная бестолочь...

И все же Николай позавидовал лаврам главнокомандующего в. кн. Николая Николаевича, сослал его с перепугу за его «популярность» на Кавказ и сам назначил себя главнокомандующим, хотя едва ли способен был самостоятельно командовать ротой.

После трехлетнего кровавого кошмара, когда Распутин между двумя пьяными оргиями нутживался в заботах о том, созывать ли Думу или не стоит, а если Дума действует, то распустить ли ее или не распускать, — наступил конец.

Распутин был убит, Александра Федоровна окончательно растерялась, Николай — растерянный и жалкий — метался, как угорелый, и всем до смерти надоел, солдатам, рабочим, кадетам, даже октябристам и националистам.

Оказалось все очень просто: Николай убедился, что он царствовал не милостью божией, а попущением народным. А когда народ не захочет, то и приготовленные полоумным Протопоповым пулеметы не помогают. И Николай подписал отречение почти равнодушно и покорно, с каким-то тупым безразличием, с которым он переживал все катастрофы: Мукден и Цусиму, Ходынку и 9-е января.

И став обывателем Николаем Романовым, разоблаченным от столь непристальных ему императорской мантии, /280/ короны и скипетра, он опять стал «Никой-Милушей», скромным, воспитанным, покладистым человеком, и горячо молился своему богу, которого он так долго оскорблял своими кощунствами, и умилял свою стражу скромностью и покорностью судьбе.

Он христосовался с конвойными и даже тайком пробирался в их комнату, играть с ними в шашки.

Но как бы монархисты ни старались, из Николая никак не удастся создать легенды. Нет в его личности никакого материала ни для трагедии, ни для легенды, ни тем более для героической поэмы.

Николай был не хуже окружавших его людей. Как ни был он скуден умом, душой и характером, он

по праву презирал тех, которые служили ему.

И Распутин, при всем своем распутстве, был не хуже, а лучше, даже честнее и умнее тех, которые толпились в его передней, всячески унижались и заискивали у него. Был лучше таких сановников, как Саблер, который поклонился ему в ноги, после того, как получил через него назначение в обер-прокуроры «святейшего» синода.

Этот темный мужик своим немудреным крестьянским умом понял, что за мразь эти сановники и министры, все эти дамы и государственные люди. И он по праву презирал их и третировал их, видя, какая гниль скрывается за всем этим блеском и треском чинов, положений, родовитости, внешней культуры и «образованности».

Презирал он, надо думать, и Николая, и Александру Федоровну.

Ибо он все же был умнее.

Николай II мог быть и красив, как Аполлон, величествен и грозен, как Николай I, мог быть и либерален, и даровит, но исторически он все равно был обречен, потому что сам царизм, независимо от личных качеств его представителей, был давно обречен...

И эту обреченность как-то чувствовал последний царь, и был он перед лицом уже надвинувшейся катастрофы как-то странно рассеян, равнодушен и безразличен, хотя осознать умом ничего не мог.

Когда революция уже охватила Петроград, когда солдаты братались с народом, когда Родзянко выходил /281/ из себя, стараясь что-то спасти, когда министры арестовывались рабочими и студентами, и даже помешанный Протопопов перестал вызывать дух Распутина, когда сановники, переодетые, прятались в дворничих или у знакомой прачки, а на улицах развевались красные флаги, Николай, в ответ на тревожные телеграммы Александры Федоровны, что Окружной суд горит, что войска переходят к народу, телеграфирует 28 февраля 1917 г. по-английски из ставки:

«Мыслями всегда вместе. Великолепная погода. Надеюсь, чувствуете себя хорошо и спокойно. Любящий нежно Ника».

Дочь доктора Боткина, Т. Мельник-Боткина, убежденная монархистка, в книге, изданной в Белграде, сообщает, что даже самые преданные, старые царские слуги, следовавшие за ним в Тобольск, вели себя возмутительно.

«Даже в это трудное время», — говорит Т. Боткина, — «преданность придворной прислуги их величеств не помешала им красть провизию, подавать невероятные счета, съедать присылаемые их величеств подарки и напиваться до того, чтобы ползать мимо комнаты их величеств на четвереньках».

Еще один штрих из истории общения царской семьи с «народом».

При наследнике, который и в десятилетнем возрасте часто не мог сам передвигаться, состоял дядька из матросов, Деревенько, который носил мальчика на руках.

Этот Деревенько, без которого маленький Алексей почти не мог существовать, естественно, стал почти своим человеком в царской семье.

И, вот, когда как-то по недоразумению или по ошибке случайно вскрыли его сундук, он оказался наполненным украденными в разное время вещами...

Николай II не хотел дать русскому народу конституции и был по-своему прав. Но и русский народ был по-своему прав, когда не очень соблазнился этой конституцией.

У Щедрина немецкий «мальчик в штанах» корит русского «мальчика без штанов»: /282/

«— ... Вот уже двадцать лет, как вы хвастаетесь, что идете исполинскими шагами вперед, а

некоторые из вас даже и о каком-то “новом слове” поговаривают — и что же оказывается? — что вы беднее, нежели когда-нибудь, что сквернословие более, нежели когда-либо регулирует ваши отношения к правящим классам, что Колупаевы держат в плену ваши души, что никто не доверяет вашей солидарности, никто не рассчитывает ни на вашу дружбу, ни на вашу неприязнь... ах.

Мальчик без штанов: — Ахай, немец! а я тебе говорю, что это-то именно и есть... занятное.

Мальчик в штанах: — Решительно ничего не понимаю.

Мальчик без штанов: — Где тебе понять! Сказывал уже я тебе, что ты за грош чорту душу продал, — вот он теперь тебе и застит свет.

Мальчик в штанах: — «Сказывал!» Но ведь и я вам говорил, что вы тому же чорту душу задаром отдали... Кажется, что и эта афера не особенно лестна..

Мальчик без штанов: — Так-то задаром, а не за грош. Задаром-то я отдал — стало быть, и опять могу назад взять...»

Неужели и Николая II любили?

Как это ни странно — иные любили и любят до сих пор.

Она не очень распространена, эта любовь, даже очень не распространена, но она все же существует, и в загадке этой любви интересно разобраться.

Не буду разбираться в идее монархизма и царизма вообще, с которой необходимо идейно бороться.

Исторические пережитки вообще обладают большой живучестью, и хотя революция в психике обыкновенно предшествует революции в жизни, но многое в психике переживает всякие революции.

Переживают многие бытовые навыки, переживают религиозные традиции, переживают и родственные или монархические чувства и настроения. Самое трудное в революции не самый переворот, не смена одних форм политических и социальных другими, а закрепление завоеваний революции в быте, в чувствах, навыках и настроениях. /283/

Николая любили многие обыватели из тех, которым не приходилось непосредственно и лично страдать от его политики.

Николай сам был типичным обывателем, и обывательские души чувствовали свое душевное родство с ним.

Царь, облеченный такой почти мистической властью, таким почти сверхъестественным могуществом, неограниченный повелитель миллионов и вместе с тем такой типичный обыватель.

Разве это не мило, не трогательно?

Всякая мещанская душа, вернее, всякое мещанство души чувствовало свое духовное родство с этим **своим** царем.

Могли ли не любить Николая те бесчисленные читатели и в особенности читательницы, которые так решительно предпочитали Вербицкую Толстому и Достоевскому?

Что такое мещанство души?

Это прежде всего удовлетворение малым и мелким. О, не в смысле материальном, тут у мещанской души жадность непомерная, аппетит чудовищный. Об этом свидетельствует вся буржуазно-

мещанская культура. Удовлетворение культурно, идейно малым — вот суть мещанства души.

И вот царь, «божий помазанник», обладающий сам почти божеской властью, такой мещанин, с таким ничтожным образованием, с такой мелкой обывательской душой, такой близкий, понятный.

И такой скромный, застенчивый...

Положим, Шопенгауэр как-то заметил, что, встречая очень скромного человека, он склонен подозревать, что у него достаточно оснований для скромности. Но, во-первых, Шопенгауэр писал не для мещанских душ, во-вторых, разве эта достаточность оснований не трогательна?

Любовь-жалость питали к царю-недотепе, к его «двадцати двум несчастьям», к жертве злой истерички жены, к сыну сурового и тупого деспота-отца, к отцу жалкого, неизлечимого больного ребенка. Сама неотвратимая обреченность Николая, слишком очевидная /284/ даже для самых непроницательных глаз, питала эту любовь-жалость к нему.

Вне политики, в плоскости обывательского бытия, Николай мог быть и «симпатичным».

Его нечестность, его лживость и коварство — все это проявлялось именно в области политики, где он был решительно не на месте и не в своей тарелке. Эти качества были естественным оружием слабого, неумелого, робкого человека.

Как обыватель, как армейский поручик, как помещик Николай мог бы прожить свою серенькую незаметную, ничем не отмеченную жизнь и «добродетельно», и прилично, и благополучно, и даже весьма «симпатично». Ибо Николай был именно «симпатичен» в том обывательском смысле, в каком этот термин прилагают к человеку, который ни холоден, ни горяч, ни особенно преступен, ни слишком добродетелен, ни очень умен, ни чрезмерно глуп, ни ангельски прекрасен, ни дьявольски безобразен. Он представлял бы образец милой золотой середины.

Но, к несчастью, он дал себе труд родиться наследником огромного царства на перевальном изломе русской истории, в эпоху войн и революций... и ему пришлось тратить так много пороку...

Может быть, он и тратил его так много потому, что не он его выдумал...

Когда вникаешь в историю русского царизма, в этот длинный свиток преступлений, глупостей, кровавых кошмаров, только диву даешься, как могла все-таки уцелеть несчастная Россия и сохранить в себе столько великих сил и великих возможностей.

На «святой Руси» принято было говорить, что ее всегда спасает Николай-угодник.

Может быть, и в этом случае небесный патрон царя Николая постоял за свою Русь и послал ей напоследок такого царя.

При другом царе, при человеке иного характера и иного закала, язва царизма, в течение веков разъедавшего тело России и растлевавшего ее душу, не была бы так быстро и бесповоротно изжита. /285/

Николай хорош тем, что он был беспорен. Любители царизма могут еще спорить о таких царях, как Петр I, как Екатерина II, как Александр I, II и даже III, даже о первом Николае, но второй Николай — беспорен. По-обывательски и в плоскости обывательской жизни можно еще о нем спорить, но в области исторической, как историческое явление, как царь, Николай II совершенно и окончательно беспорен.

В нем царизм сказал свое последнее и неизменное слово.

Чудо и предстательство за «святую Русь» Николая угодника сказались в том, что последний Романов так облегчил дело революции в ее политическом фазисе, в свержении царизма... Политическая надстройка, веками закрывавшая от подлинной России свет солнца, рухнула в

одночасье и открыла путь революции социальной.

В тот февральский день, когда перед памятником Александру III казак, вместо того, чтобы врубиться в восставший народ, обратил свое оружие против врага народа и убил полицейского пристава, был концом того, чему начало положил Николай 9 января 1905 года, расстреляв доверчиво и благоговейно шедших к нему рабочих.

Крестьянство можно было обманывать долгие века, рабочих — только немногие годы.

От 9 января 1905 года до 27 февраля 1917 года, прошло всего с небольшим двенадцать лет...

О покойниках принято говорить только хорошее — или молчать.

О покойном царизме молчать трудно, потому что жив еще монархизм и бродят по Европе связанные с ним вождедения и мечты.

И Екатерина II, с ее Наказом и «вольтерьянством», и Александр I, с его конституционными мечтами, и Александр II, с его реакционным либерализмом, и Николай II, с его провокаторской конституцией, все они пуще всего охраняли свое самодержавие и абсолютизм своей власти, не говоря уже о Николае I и Александре III. И были они по-своему правы. Царизм, монархизм /286/ имеют смысл только как самодержавие, как власть неограниченная и самодержавная.

Конституционализм и парламентаризм — обман, компромисс или лицемерие.

Все эти ограничения неизбежно сводятся либо к фактическому упразднению монархической власти, на место которой становится власть олигархическая, а затем буржуазно-классовая, как в Англии, либо цезаристская, как во Франции, при Наполеоне.

Монархизм обречен, а господство трудящихся есть неизбежный грядущий день истории.

Абсолют изжит уже во всех областях, прежде всего, в религии и морали, где он был сильнее всего и где из абсолютной власти царя небесного выводилась абсолютная власть царя земного, царя «божией милостью». Теперь абсолют изжит даже в области точных наук, даже в математике и физике, где воцарился принцип относительности.

Николай II довел принцип царизма до нелепости, до самоотрицания, и в этом его бессознательная и невольная заслуга перед революцией. /287/